

*Charles K.*  
**LAKEPOND**

*William A. Smith  
his country collection*



## Annotation

«...книга эта вовсе не задумывалась как юмористическая. Писатель вспоминал, что собирался написать «рассказ о Темзе», ее истории, живописных пейзажах и достопримечательностях, украшающих ее берега. Но получилось нечто совсем другое. Незадолго до этого Джером вернулся из свадебного путешествия. Он чувствовал себя необыкновенно счастливым и не был настроен на серьезный лад. Поэтому, поглядывая из окна кабинета на Темзу, он решил начать не с очерков о реке, а с юмористических вставок, которые бы оживили книгу и связали очерки в единое целое. Вставки давались Джерому легко, они увлекли его и в результате стали основой книги. Закончив писать, он «вымучил» с десятка «серьезных» кусочков и «втиснул» их в некоторые из глав. Однако редактору журнала, в котором печаталась повесть, они показались излишними, и он их почти все выбросил. Да, Джерому Клапке Джерому, как он ни старался, трудно было оставаться серьезным — и в жизни, и в творчестве.»

*Валерий Чухно (из вступительной статьи к книге).*

- 
- [Джером Клапка Джером](#)
  - [Как трудно быть серьезным](#)
  - [Предисловие автора](#)
  - [Глава первая](#)
  - [Глава вторая](#)
  - [Глава третья](#)
  - [Глава четвертая](#)
  - [Глава пятая](#)
  - [Глава шестая](#)
  - [Глава седьмая](#)
  - [Глава восьмая](#)
  - [Глава девятая](#)
  - [Глава десятая](#)
  - [Глава одиннадцатая](#)
  - [Глава двенадцатая](#)
  - [Глава тринадцатая](#)
  - [Глава четырнадцатая](#)
  - [Глава пятнадцатая](#)

- [Глава шестнадцатая](#)
  - [Глава семнадцатая](#)
  - [Глава восемнадцатая](#)
  - [Глава девятнадцатая](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
-

# **Джером Клапка Джером Трое в одной лодке, не считая собаки**

Перевод М. Салье.

Вступительная статья В. Чухно.

## Как трудно быть серьезным

С фотографии на вас смотрит строгое волевое лицо с упрямо поджатыми губами, и как-то не верится, что это не ученый или, скажем, священник, а знаменитый английский писатель-юморист. Впрочем, ему всегда хотелось создать какое-нибудь серьезное произведение, и он неоднократно пытался это сделать. Однако читатели помнят его прежде всего как автора уморительно смешных «Троих в одной лодке» и других веселых повестей и рассказов. Серьезность писателю удавалось сохранить лишь на фотографии.

У него даже имя было какое-то причудливое — Джером К. Джером. А если учесть, что К. означает «Клапка», то оно и вовсе звучит легкомысленно. Но Джером Клапка Джером не псевдоним; писателя так звали на самом деле. Необычное второе имя отец дал ему в честь своего друга Дьердя Клапки, венгерского генерала, жившего в эмиграции в городке Уолсоле, что в графстве Стаффордшир. Именно там 2 мая 1859 года и родился будущий юморист.

Отец Джерома занимался и строительством домов, и добычей угля, и продажей скобяных изделий, но дела у него шли из рук вон плохо. Одновременно он был евангелическим проповедником, и, нужно сказать, эта роль удавалась ему намного лучше. Возможно, склонность к нравоучительным рассуждениям, встречающимся в некоторых произведениях Джерома, писатель унаследовал от своего отца.

Когда Джерому пошел второй год, отец его окончательно разорился, и вся семья переехала в Лондон. Они поселились в Ист-Энде — районе рабочих и бедноты. Несмотря на материальные затруднения, мальчика определили в классическую школу. Учился он без особой охоты, но читал много, запоем, и хорошо запоминал прочитанное — память у него была великолепная. Прирожденный талант юмориста проявился у Джерома очень рано. Еще в школе он прославился как остроумный рассказчик; его шутки подхватывались на ходу и долго повторялись школьными товарищами.

В 1871 году отец умер. Сводить концы с концами Джеромам стало намного труднее. Спустя два года четырнадцатилетний мальчик вынужден был бросить школу, и давний друг семьи устроил его клерком в железнодорожную компанию. В 1875 году не стало и матери. Джером-младший с сестрами оказались круглыми сиротами, и теперь могли

рассчитывать только на самих себя. Кем только ему не довелось поработать в последующие годы — и школьным учителем, и подручным стряпчего, и репортером, и актером.

Выступая на сцене в составе различных театральных трупп, молодой Джером исколесил за три года почти всю страну. Он многое повидал, и все это запечатлелось в его уникальной памяти. Именно в те годы он познакомился, а потом и подружился с большим оригиналом — Джорджем Уингрейвом. Ему было суждено стать прототипом Джорджа — пожалуй, самого забавного персонажа повести «Трое в одной лодке». Джером не раз путешествовал с ним и еще с одним приятелем на лодке по Темзе. Возможно, эти прогулки и вдохновили писателя на создание прославленного комического шедевра.

Впечатления, накопленные Джеромом за годы работы актером, нашли отражение в его первой книге «На сцене и за кулисами» — сборнике юмористических рассказов о театральной жизни. Он был опубликован в 1885 году и очень хорошо принят читателями. Окрыленный успехом, Джером пишет в 1886 году «Праздные мысли лентяя» — веселые эссе о всякой всячине. Эта книга имела большой успех, ее, по словам самого Джерома, «расхватывали, как горячие пирожки». Джером Джером решает сделать писательство своей основной профессией.

В 1888 году он встретил женщину, которую полюбил настолько сильно, что решил жениться на ней, хотя до тех пор не представлял себя в роли женатого человека. Годом позже он поселился в Челси, фешенебельном районе в западной части Лондона. В новом доме из окон его круглого рабочего кабинета открывался чудесный вид на реку Темзу и отдаленные холмы за городом. Именно там Джером К. Джером и написал свое самое знаменитое произведение — «Трое в одной лодке, не считая собаки».

Интересно отметить, что книга эта вовсе не задумывалась как юмористическая. Писатель вспоминал, что собирался написать «рассказ о Темзе», ее истории, живописных пейзажах и достопримечательностях, украшающих ее берега. Но получилось нечто совсем другое. Незадолго до этого Джером вернулся из свадебного путешествия. Он чувствовал себя необыкновенно счастливым и не был настроен на серьезный лад. Поэтому, поглядывая из окна кабинета на Темзу, он решил начать не с очерков о реке, а с юмористических вставок, которые бы оживили книгу и связали очерки в единое целое. Вставки давались Джерому легко, они увлекли его и в результате стали основой книги. Закончив писать, он «вымучил» с десятков «серьезных» кусочков и «втиснул» их в некоторые из глав. Однако

редактору журнала, в котором печаталась повесть, они показались излишними, и он их почти все выбросил. Да, Джерому Клапке Джерому, как он ни старался, трудно было оставаться серьезным — и в жизни, и в творчестве.

В 1892 году Джером вместе с друзьями начали издавать ежемесячный иллюстрированный журнал «Лентяй». Благодаря своей занимательности «Лентяй» быстро стал одним из самых популярных периодических изданий Англии. В журнале печатались такие известные авторы, как Роберт Стивенсон, Марк Твен, Брет Гарт. В 1893 году он основал еженедельник «Сегодня», став и его редактором тоже. Среди художников, иллюстрировавших этот лучший на то время еженедельный журнал страны, были такие знаменитости, как Обри Бердслей и Фил Мэй.

Редактирование журналов отнимало у Джерома все рабочее и свободное время. За пять с лишним лет он не написал практически ничего, а лишь вычитывал и правил тонны чужих рукописей. В конце 1897 года из-за финансовых и других осложнений он оставил редакторство и снова стал писателем. В том же году выходит его новый сборник «Наброски лиловым, голубым и зеленым». Рассказы действительно написаны во всем диапазоне «цветовых» оттенков — от очень смешных до чуть ли не трагических историй.

Джером любил бывать за границей и в некоторых странах оставался подолгу. Больше всего он прожил в Германии, о которой потом много писал. Трижды Джером выступал с публичным чтением своих сочинений в Америке. Человек он был любознательный и всегда с охотой откликался на приглашение посетить места, где еще не бывал. В феврале 1899 года писатель посетил Россию.

Произведения Джерома появились на русском языке еще в 1893 году и с тех пор выходили в переводах ежегодно, часто по многу раз в год. Ко времени приезда писателя в Россию его имя было хорошо известно читающей публике, и его ждал необыкновенно теплый прием. Самое популярное в то время российское периодическое издание — еженедельный иллюстрированный журнал «Нива» — посвятило английскому писателю восторженную статью в десятом номере за 1899 год.

«В феврале гостил в Петербурге известный всей образованной России английский писатель Джером К. Джером, юмористические очерки которого нередко украшали и столбцы «Нивы», — писал журнал. — Имя Джерома-Джерома стало одним из первых в английской литературе. Его книги не могли пройти незамеченными: в них столько самобытности, прелестного юмора, ума и доброты... Несмотря на сравнительно молодой возраст

автора (39 лет)... его имя уже ставится наряду с классиками, и издание за изданием выпускается в Лондоне, Америке и почти на всех европейских языках... Нам, русским, он особенно близок — и по добродушному, ласковому юмору, и по меланхолически-поэтичным размышлениям».

Далее «Нива» сообщила читателям, будто одним из предков Джерома был переселившийся в Англию чех по имени Клапка, в честь которого писатель и получил свое необычное имя. «Значит, в нем течет славянская кровь!» — с гордостью восклицал журнал. Версия о славянских предках, конечно, лишена оснований, но от этого мы любим Джерома не меньше.

Джером очаровал принимавших его россиян своей скромностью, простотой и неподдельным интересом к русской культуре, архитектуре и общественной жизни. Его возили по всему Петербургу, он побывал в музеях и театрах столицы. Большой любитель живописи, он не мог оторваться от картин Айвазовского и Репина, которые увидел впервые. А когда Джером прослушал в оперном театре «Руслана и Людмилу», а затем «Царя Федора Иоанновича», он с восторгом заметил, что эти дивные вещи он мог бы понять и без перевода — так хорошо они написаны и поставлены.

Россия произвела на писателя огромное впечатление. Шесть лет спустя вышла его книга очерков «Праздные мысли в 1905 году», одну из глав которой Джером посвятил России. В 1906 году эта глава вышла в русском переводе под названием «Люди будущего». Восхищаясь талантливостью народа России, Джером рассказывает об одном из своих русских знакомых, изучившем китайский язык за шесть месяцев. Что касается английского языка, то «они выучивают его прямо во время разговора с вами», — шутливо добавляет Джером. «Русский человек — одно из самых очаровательных существ на земном шаре», — утверждает писатель и предвещает великое будущее стране, в которой живут такие люди.

Джерома интересовало и творчество русских писателей. Например, в 1926 году Джером, уже пожилой человек, специально пришел в дом, где остановился приехавший в Лондон по приглашению Пен-клуба Иван Бунин, чтобы лично встретиться с ним.

В 1900 году Джером написал продолжение «Троих в одной лодке», назвав свою новую повесть «Трое на четырех колесах». Ее герои — те же, что и в первой книге, только теперь они путешествуют не по Темзе, а по Германии, и не в лодке, а на велосипедах. После этого Джером создал еще немало произведений — пьес, романов, очерков, книг воспоминаний.

В 1914 году началась первая мировая война. Джером, несмотря на свои 55 лет, отправился добровольцем на фронт, во Францию, где доставлял с



поля боя раненых на санитарной машине.

Последние годы жизни писатель провел в графстве Букингемшир на своей ферме, имевшей необычное название — «Монаший уголок». И в пожилом возрасте он сохранял тот вкус к жизни, который свойствен молодым людям. Умер Джером 14 июня 1927 года.

В наше время, как и сто лет назад, Джером Клапка Джером не в почете у критиков — хоть российских, хоть американских. Откройте любую энциклопедию, и вы найдете маленькую снисходительную статейку о сентиментальном писателе-юмористе средней руки. А вот просто читатели Джерома любили и любят. Видимо, потому, что писал он о повседневной жизни обычных людей, но умел находить в ней столько смешного и светлого, что каждый понимал: Божий мир не хорош и не плох — все дело в том, как ты к нему относишься.

И хотя замечательному английскому писателю Джерому Клапке Джерому, несмотря на все его старания, так и не удалось стать серьезным, но для читателей это, наверное, и к лучшему.

*Валерий Чухно*

## Предисловие автора

Прелесть этой книги не столько в литературном стиле или полноте и пользе заключающихся в ней сведений, сколько в безыскусственной правдивости. На страницах ее запечатлелись события, которые действительно произошли. Я только слегка их приукрасил, за ту же цену. Джордж, Гаррис и Монморенси не поэтический идеал, но существа вполне материальные, особенно Джордж, который весит около двенадцати стоунов.<sup>[1]</sup> Некоторые произведения, может быть, отличаются большей глубиной мысли и лучшим знанием человеческой природы; иные книги, быть может, не уступают моей в отношении оригинальности и объема, но своей безнадежной, неизлечимой достоверностью она превосходит все до сих пор обнаруженные сочинения. Именно это достоинство, скорее чем другие, делает мою книжку ценной для серьезного читателя и придаст больший вес наизиданиям, которые можно из нее почерпнуть.

## Глава первая

Трое инвалидов. — Страдания Джорджа и Гарриса. — Жертва ста семи смертельных недугов. — Полезные рецепты. — Средство против болезней печени у детей. — Мы сходимся на том, что переутомились и что нам нужен отдых. — Неделя в море? — Джордж предлагает путешествие по реке. — Монморенси выдвигает возражение. — Первоначальное предложение принято большинством трех против одного.

Нас было четверо — Джордж, Уильям Сэмюэль Гаррис, я и Монморенси. Мы сидели в моей комнате, курили и рассуждали о том, как мы плохи, — плохи с точки зрения медицины, конечно.

Мы все чувствовали себя не в своей тарелке и очень из-за этого нервничали. Гаррис сказал, что на него по временам нападают такие приступы головокружения, что он едва понимает, что делает. Джордж сказал, что у него тоже бывают приступы головокружения и он тогда тоже не знает, что делает. Что касается меня, то у меня не в порядке печень. Я знал, что у меня не в порядке печень, потому что недавно прочитал проспект, рекламирующий патентованные пилюли от болезней печени, где описывались различные симптомы, по которым человек может узнать, что печень у него не в порядке. У меня были все эти симптомы.

Это поразительно, но всякий раз, когда я читаю объявление о каком-нибудь патентованном лекарстве, мне приходится сделать вывод, что я страдаю именно той болезнью, о которой в нем говорится, и притом в наиболее злокачественной форме. Диагноз в каждом случае точно совпадает со всеми моими ощущениями.

Помню, я однажды отправился в Британский музей почтить о способах лечения какой-то пустяковой болезни, которой я захворал, — кажется, это была сенная лихорадка. Я выписал нужную книгу и прочитал все, что мне требовалось; потом, задумавшись, я машинально перевернул несколько страниц и начал изучать всевозможные недуги. Я забыл, как называлась первая болезнь, на которую я наткнулся, — какой-то ужасный бич, насколько помню, — но не успел я и наполовину просмотреть список предварительных симптомов, как у меня возникло убеждение, что я схватил эту болезнь.

Я просидел некоторое время, застыв от ужаса, потом с равнодушием отчаяния снова стал перелистывать страницы. Я дошел до брюшного тифа, прочитал симптомы и обнаружил, что я болен брюшным тифом, — болен уже несколько месяцев, сам того не ведая. Мне захотелось узнать, чем я

еще болен. Я прочитал о пляске святого Витта и узнал, как и следовало ожидать, что болен этой болезнью. Заинтересовавшись своим состоянием, я решил исследовать его основательно и стал читать в алфавитном порядке. Я прочитал про атаксию и узнал, что недавно заболел ею и что острый период наступит недели через две. Брайтовой болезнью я страдал, к счастью, в легкой форме и, следовательно, мог еще прожить многие годы. У меня был дифтерит с серьезными осложнениями, а холерой я, по-видимому, болен с раннего детства.

Я добросовестно проработал все двадцать шесть букв алфавита и убедился, что единственная болезнь, которой у меня нет, — это воспаление коленной чашечки.

Сначала я немного огорчился — это показалось мне незаслуженной обидой. Почему у меня нет воспаления коленной чашечки? Чем объяснить такую несправедливость? Но вскоре менее хищные чувства взяли верх. Я подумал о том, что у меня есть все другие болезни, известные в медицине, стал менее жадным и решил обойтись без воспаления коленной чашечки. Подагра в самой зловредной форме поразила меня без моего ведома, а общим предрасположением к инфекции я, по-видимому, страдал с отроческих лет. Это была последняя болезнь в лечебнике, и я решил, что все остальное у меня в порядке.

Я сидел и размышлял. Я думал о том, какой интерес я представляю с медицинской точки зрения, каким приобретением я был бы для аудитории. Студентам не было бы нужды «обходить клиники». Я один представлял собой целую клинику. Им достаточно было бы обойти вокруг меня и затем получить свои дипломы.

Потом я решил узнать, долго ли я проживу. Я попробовал себя обследовать. Я пощупал свой пульс. Сначала я совсем не мог найти пульса. Потом внезапно он начал биться. Я вынул часы и стал считать. Я насчитал сто сорок семь ударов в минуту. Я попытался найти свое сердце. Я не мог найти у себя сердца. Оно перестало биться. Теперь-то я полагаю, что оно все время оставалось на своем месте и билось, но объяснить, в чем дело, я не могу. Я похлопал себя спереди, начиная с того, что я называю талией, до головы и немного захватил бока и часть спины, но ничего не услышал и не почувствовал. Я попробовал показать себе язык. Я высунул его как можно дальше и зажмурил один глаз, чтобы глядеть на него другим. Я увидел лишь самый кончик языка, и единственное, что это мне дало, была еще большая уверенность, что у меня скарлатина.

Счастливым, здоровым человеком вошел я в эту читальню, а вышел из нее разбитым инвалидом.

Я отправился к своему врачу. Это мой старый товарищ, и когда мне кажется, что я болен, он щупает мне пульс, смотрит мой язык и разговаривает со мной о погоде — все, конечно, даром. Я решил, что сделаю доброе дело, если пойду к нему сейчас. «Все, что нужно врачу, — подумал я, — это иметь практику. Он будет иметь меня. Он получит от меня больше практики, чем от тысячи семисот обычных больных с одной или двумя болезнями».

Итак, я прямо направился к нему. Он спросил:

— Ну, чем же ты болен?

Я ответил:

— Я не стану отнимать у тебя время, милый мой, рассказывая о том, чем я болен. Жизнь коротка, и ты можешь умереть раньше, чем я кончу. Но я скажу тебе, чем я не болен. У меня нет воспаления коленной чашечки. Почему у меня нет воспаления коленной чашечки, я сказать не могу, но факт остается фактом, — этой болезни у меня нет. Зато все остальные болезни у меня есть.

И я рассказал ему, как мне удалось это обнаружить. Тогда он расстегнул меня и осмотрел сверху донизу, потом взял меня за руку и ударил в грудь, когда я меньше всего этого ожидал, — довольно-таки подлая выходка, по моему мнению, — и вдобавок боднул меня головой. Затем он сел, написал рецепт, сложил его и отдал мне. Я положил рецепт в карман и ушел.

Я не развертывал рецепта. Я отнес его в ближайшую аптеку и подал. Аптекарь прочитал рецепт и отдал мне его обратно. Он сказал, что не держит таких вещей.

Я сказал:

— Вы аптекарь?

Он сказал:

— Я аптекарь. Если бы я совмещал в себе универсальный магазин и семейный пансион, то мог бы услужить вам. Но, будучи всего лишь аптекарем, я в затруднении.

Я прочитал рецепт. Он гласил:

«1 фунтовый бифштекс и

1 пинта горького пива каждые 6 часов.

1 десятимильная прогулка ежедневно по утрам.

1 кровать ровно в 11 ч. вечера.

И не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь».

Я последовал этим указаниям с тем счастливым результатом — если говорить за себя, — что моя жизнь была спасена и я до сих пор жив.

Теперь же, возвращаясь к проспекту о пилюлях, у меня несомненно были все симптомы болезни печени, главный из которых — «общее нерасположение ко всякого рода труду».

Сколько я перестрадал в этом смысле — не расскажешь словами! С самого раннего детства я был мучеником. В отроческом возрасте эта болезнь не покидала меня ни на один день. Никто не знал тогда, что все дело в печени. Медицинской науке многое в то время было еще неизвестно, и мой недуг приписывали лени.

— Эй ты, чертенок, — говорили мне, — встань и займись чем-нибудь, что ли!

Никто, конечно, не знал, что я нездоров.

Мне не давали пилюль, мне давали подзатыльники. И, как это ни покажется странным, эти подзатыльники часто излечивали меня на время. Я знаю, что один подзатыльник лучше действовал на мою печень и сильнее побуждал меня сразу же, не теряя времени, встать и сделать то, что нужно, чем целая коробка пилюль. Так часто бывает: простые старомодные средства сплошь и рядом оказываются более действенными, чем целый аптекарский арсенал.

Мы просидели с полчаса, описывая друг другу свои болезни. Я объяснил Джорджу и Уильяму Гаррису, как я себя чувствую, когда встаю по утрам, а Уильям Гаррис рассказал, как он себя чувствует, когда ложится спать. Джордж, стоя на каминном коврике, дал нам ясное, наглядное и убедительное представление о том, как он чувствует себя ночью.

Джордж воображает, что он болен. На самом деле у него всегда все в порядке.

В это время постучалась миссис Попетс, чтоб узнать, не расположены ли мы поужинать. Мы обменялись грустными улыбками и сказали, что нам, пожалуй, следовало бы попробовать съесть что-нибудь. Гаррис сказал, что некоторое количество пищи в желудке часто предохраняет от болезни. Миссис Попетс внесла поднос, мы подсели к столу и скушали по кусочку бифштекса с луком и пирога с ревенем.

Я, вероятно, был очень слаб в то время, так как примерно через полчаса потерял всякий интерес к еде — вещь для меня необычная — и отказался от сыра.

Исполнив эту обязанность, мы снова наполнили стаканы, набили трубки и возобновили разговор о состоянии нашего здоровья. Никто из нас не знал наверное, что с ним, но общее мнение сводилось к тому, что наша

болезнь, как ее ни называй, объясняется переутомлением.

— Все, что нам нужно, — это отдых, — заявил Гаррис.

— Отдых и полная перемена обстановки, — сказал Джордж. — Перенапряжение мозга вызвало общее ослабление нервной системы. Перемена среды и отсутствие необходимости думать восстановят умственное равновесие.

У Джорджа есть двоюродный брат, который обычно значится в полицейских протоколах студентом-медиком. Поэтому Джордж всегда выражается, как домашний врач.

Я согласился с Джорджем и предложил отыскать где-нибудь уединенное старосветское местечко, вдали от шумной толпы, и помечтать с недельку в его сонной тишине. Какой-нибудь забытый уголок, спрятанный феями от глаз суетного света, гнездо орлиное, что внесено на Времени утес, куда еле доносится шум бурных волн девятнадцатого века.

Гаррис сказал, что, по его мнению, там будет страшная скука. Он знает эти места, где все ложатся спать в восемь часов вечера; спортивной газеты там не достанешь ни за какие деньги, а чтобы раздобыть табачку, надо пройти десять миль.

— Нет, — заявил он, — если вы хотите отдыха и перемены, ничто не сравнится с прогулкой по морю.

Я энергично восстал против морской прогулки. Путешествие по морю приносит пользу, если длится месяца два, но одна неделя — это сплошное зло.

Вы выезжаете в понедельник с твердым намерением доставить себе удовольствие. Вы весело машете рукой друзьям, оставшимся на берегу, закуриваете самую длинную свою трубку и гордо разгуливаете по палубе с таким видом, словно вы капитан Кук, сэр Фрэнсис Дрэйк и Христофор Колумб в одном лице. Во вторник вы начинаете жалеть, что поехали. В среду, четверг и пятницу вы жалеете, что родились на свет. В субботу вы уже в состоянии проглотить немного бульона, посидеть на палубе и с бледной, кроткой улыбкой отвечать на вопросы сердобольных людей о вашем самочувствии. В воскресенье вы снова начинаете ходить и принимать твердую пищу. А в понедельник утром, когда вы с чемоданом и с зонтиком в руке стоите у поручней, собираясь сойти на берег, поездка начинает вам по-настоящему нравиться.

Помню, мой зять однажды предпринял короткое путешествие по морю для поправления здоровья. Он взял билет от Лондона до Ливерпуля и обратно, а когда он приехал в Ливерпуль, его единственной заботой было продать свой билет.

Мне рассказывали, что он предлагал этот билет по всему городу с огромной скидкой и в конце концов продал его какому-то молодому человеку, больному желтухой, которому его врач только что посоветовал проехаться по морю и заняться гимнастикой.

— Море! — говорил мой зять, дружески всовывая билет в руку молодого человека. — Вы получите его столько, что вам хватит на всю жизнь. А что касается гимнастики, то сядьте на это судно, и у вас будет ее больше, чем если бы вы непрерывно кувыркались на суше.

Сам он вернулся обратно поездом. Он говорил, что Северо-Западная железная дорога достаточно полезна для его здоровья.

Другой мой знакомый отправился в недельное путешествие вдоль побережья. Перед отплытием к нему подошел буфетчик и спросил, будет ли он расплачиваться за каждый обед отдельно, или же уплатит вперед за все время. Буфетчик рекомендовал ему последнее, так как это обойдется значительно дешевле. Он сказал, что посчитает с него за неделю два фунта пять шиллингов. По утрам подается рыба и жареное мясо; завтрак бывает в час и состоит из четырех блюд; в шесть — закуска, суп, рыба, жаркое, птица, салат, сладкое, сыр и десерт; в десять часов — легкий мясной ужин.

Мой друг решил остановиться на двух фунтах пяти шиллингах (он большой любитель поесть).

Второй завтрак подали, когда пароход проходил мимо Ширнесса. Мой приятель не чувствовал особого голода и потому довольствовался куском вареной говядины и земляникой со сливками. Днем он много размышлял, и иногда ему казалось, что он несколько недель не ел ничего, кроме вареной говядины, а иногда — что он годами жил на одной землянике со сливками.

И говядина, и земляника со сливками тоже чувствовали себя неважно.

В шесть часов ему доложили, что обед подан. Это сообщение не вызвало у моего приятеля никакого энтузиазма, но он решил, что надо же отработать часть этих двух фунтов и пяти шиллингов, и, хватаясь за канаты и другие предметы, спустился вниз. Приятный аромат лука и горячего окорока, смешанный с благоуханием жареной рыбы и овощей, встретил его у подножия лестницы. Буфетчик, маслено улыбаясь, подошел к нему и спросил:

— Что прикажете принести, сэр?

— Унесите меня отсюда, — последовал еле слышный ответ. И его быстро подняли наверх, уложили с подветренной стороны и оставили одного.

Последующие четыре дня мой знакомый вел жизнь скромную и безупречную, питаясь только сухариками и содовой водой. К субботе он,



однако, возомнил о себе и отважился на слабый чай и поджаренный хлеб, а в понедельник уже наливался куриным бульоном. Он сошел на берег во вторник, и когда пароход отвалил от пристани, проводил его грустным взглядом.

— Вот он плывет, — сказал он. — Плывет и увозит на два фунта стерлингов пищи, которая принадлежит мне и которую я не съел.

Он говорил, что если бы ему дали еще один день, он, пожалуй, мог бы поправить это дело.

Поэтому я восстал против морского путешествия. Не из-за себя, как я тут же объяснил. Меня никогда не укачивает. Но я боялся за Джорджа. Джордж сказал, что с ним все будет в порядке и морское путешествие ему даже нравится, но он советует мне и Гаррису не помышлять об этом, так как уверен, что мы оба заболеем. Гаррис сказал, что для него всегда было тайной, как это люди ухитряются страдать морской болезнью, — наверное, они делают это нарочно, просто прикидываются. Ему часто хотелось заболеть, но так ни разу и не удалось.

Потом он рассказал нам несколько случаев, когда он переплывал Ла-Манш в такую бурю, что пассажиров приходилось привязывать к койкам. Гаррис с капитаном были единственными на пароходе, кто не болел. Иногда здоровым оставался, кроме него, помощник капитана, но, в общем, всегда был здоров только Гаррис и еще кто-нибудь. А если не Гаррис и кто-нибудь другой, то один Гаррис.

Любопытная вещь — никто никогда не страдает морской болезнью на суше. В море вы видите множество больных людей — полные пароходы, но на суше мне еще не встречался ни один человек, который бы вообще знал, что такое морская болезнь. Куда скрываются, попадая на берег, тысячи не выносящих качки людей, которыми кишит каждое судно, — это для меня тайна.

Будь все люди похожи на того парня, которого я однажды видел на пароходе, шедшем в Ярмут, эту загадку было бы довольно легко объяснить. Помню, судно только что отошло от Саусэндского мола, и он стоял, высунувшись в иллюминатор, в очень опасной позе. Я подошел к нему, чтобы попытаться его спасти, и сказал, тряся его за плечо:

— Эй, осадите назад! Вы свалитесь за борт!

— Я только этого и хочу! — раздалось в ответ. Больше я ничего не мог от него добиться, и мне пришлось оставить его в покое.

Три недели спустя я встретил его в кафе одного отеля в Бате, он рассказывал о своих путешествиях и с воодушевлением говорил о том, как он любит море.

— Не укачивало? — воскликнул он, отвечая на полный зависти вопрос какого-то кроткого молодого человека. — Должен признаться, один раз меня немного мутило. Это было у мыса Горн. На следующее утро корабль потерпел крушение.

Я сказал:

— Не вы ли однажды немного заболели у Саусэндского мола и мечтали о том, чтобы вас выбросило за борт?

— Саусэндский мол? — повторил он с изумленным видом.

— Да, на пути в Ярмут, три недели назад, в пятницу.

— Ах, да, да, — просиял он, — теперь вспоминаю. В тот день у меня болела голова. Это от пикулей, знаете. Самые паскудные пикули, какие мне приходилось есть на таком, в общем, приличном пароходе. А вы их пробовали?

Что касается меня, то я нашел превосходное предохранительное средство против морской болезни. Вы становитесь в центре палубы и, как только судно начинает качать, тоже раскачиваетесь, чтобы сохранить равновесие. Когда поднимается нос парохода, вы наклоняетесь вперед и почти касаетесь собственным носом палубы, а когда поднимается корма, вы откидываетесь назад. Все это прекрасно на час или на два, но нельзя же качаться взад и вперед неделю!

Джордж сказал:

— Поедем вверх по реке.

Он пояснил, что у нас будет и свежий воздух, и моцион, и покой. Постоянная смена ландшафта займет наши мысли (включая и те, что найдутся в голове у Гарриса), а усиленная физическая работа вызовет аппетит и хороший сон.

Гаррис сказал, что, по его мнению, Джорджу не следует делать ничего такого, что укрепляло бы его склонность ко сну, так как это было бы опасно. Он сказал, что не совсем понимает, как это Джордж будет спать еще больше, чем теперь, ведь сутки всегда состоят из двадцати четырех часов, независимо от времени года. Если бы Джордж действительно спал еще больше, он с равным успехом мог бы умереть и сэкономить таким образом деньги на квартиру и стол.

Гаррис добавил, однако, что река удовлетворила бы его «на все сто». Я не знаю, какие это «сто», но они, видимо, всех удовлетворяют, что служит им хорошей рекомендацией.

Меня река тоже удовлетворяла «на все сто», и мы с Гаррисом оба сказали, что Джорджу пришла хорошая мысль. Мы сказали это с таким выражением, что могло показаться, будто мы удивлены, как это Джордж

оказался таким умным.

Единственный, кто не пришел в восторг от его предложения, — это Монморенси. Он никогда не любил реки, наш Монморенси.

— Это все прекрасно для вас, друзья, — говорил он. — Вам это нравится, а мне нет. Мне там нечего делать. Виды — это не по моей части, а курить я не курю. Если я увижу крысу, вы все равно не остановитесь, а если я засну, вы, чего доброго, начнете дурачиться на лодке и плюхнете меня за борт. Спросите меня, и я скажу, что вся эта затея — сплошная глупость.

Однако нас было трое против одного, и предложение было принято.

## Глава вторая

Обсуждение плана. — Прелести ночевки под открытым небом в хорошую погоду. — То же — в дурную погоду. — Принимается компромиссное решение. — Первые впечатления от Монморенси. — Не слишком ли он хорош для этого мира? — Опасения отброшены как необоснованные. — Заседание откладывается.

Мы вытащили карты и наметили план.

Было решено, что мы тронемся в следующую субботу от Кингстона. Я отправлюсь туда с Гаррисом утром, и мы поднимем лодку вверх до Чертси, а Джордж, который может выбраться из Сити только после обеда (Джордж спит в каком-то банке от десяти до четырех каждый день, кроме субботы, когда его будят и выставляют оттуда в два), встретится с нами там.

Где мы будем ночевать — под открытым небом или в гостиницах?

Я и Джордж стояли за то, чтобы ночевать на воздухе. Это будет, говорили мы, так привольно, так патриархально...

Золотое воспоминание об умершем солнце медленно блекнет в сердце холодных, печальных облаков. Умолкнув, как загрустившие дети, птицы перестали петь, и только жалобы болотной курочки и резкий крик коростеля нарушают благоговейную тишину над пеленою вод, где умирающий день испускает последнее дыхание.

Из потемневшего леса, подступившего к реке, неслышно ползут призрачные полчища ночи — серые тени. Разогнав последние отряды дня, они бесшумной, невидимой поступью проходят по колышущейся осоке и вздыхающему камышу. Ночь на мрачном своем престоле окутывает черными крыльями погружающийся во мрак мир и безмолвно царит в своем призрачном дворце, освещенном бледными звездами.

Мы укрыли нашу лодку в тихой бухточке, поставили палатку, сварили скромный ужин и поели. Вспыхивают огоньки в длинных трубках, звучит негромкая веселая болтовня. Когда разговор прерывается, слышно, как река, плескаясь вокруг лодки, рассказывает диковинные старые сказки, напевает детскую песенку, которую она поет уже тысячи лет и будет петь, пока ее голос не станет дряхлым и хриплым. Нам, которые научились любить ее изменчивый лик, которые так часто искали приюта на ее волнующейся груди, — нам кажется, что мы понимаем ее, хотя и не могли бы рассказать словами повесть, которую слушаем.

И вот мы сидим у реки, а месяц, который тоже её любит, склоняется,

чтобы приложиться к ней братским лобзанием, и окутывает ее нежными серебристыми объятиями; мы смотрим, как струятся ее воды и все поют, все шепчут, устремляясь к владыке своему — морю; наконец голоса наши замирают, трубки гаснут, и нас, обыкновенных, достаточно пошлых молодых людей переполняют мысли печальные и милые, и нет у нас больше охоты говорить.

И, наконец, рассмеявшись, мы поднимаемся, выколачиваем погасшие трубки и со словами «спокойной ночи» засыпаем под большими тихими звездами, убаюканные плеском воды и шелестом деревьев, и нам грезится, что мир снова молод, молод и прекрасен, как была прекрасна земля до того, как столетия смут и волнений избороздили морщинами ее лицо, а грехи и безумства ее детей состарили ее любящее сердце, — прекрасна, как в былые дни, когда, словно молодая мать, она баюкала нас, своих сыновей, на широкой груди, пока коварная цивилизация не выманила нас из ее любящих объятий и ядовитые насмешки искусственности не заставили нас устыдиться простой жизни, которую мы вели с нею, и простого величавого обиталища, где столько тысячелетий назад родилось человечество.

Гаррис спросил:

— А как быть, если пойдет дождь?

Гарриса ничем не проймешь. В Гаррисе нет ничего поэтического, нет безудержного порыва к недостижимому. Гаррис никогда не плачет, «сам не зная почему». Если глаза Гарриса наполняются слезами, можно биться об заклад, что он наелся сырого луку или намазал на котлету слишком много горчицы. Если бы вы очутились с Гаррисом ночью на берегу моря и сказали ему: «Чу! Слышишь? Это, наверное, русалки поют в морской глубине или печальные духи читают псалмы над бледными утопленниками, запутавшимися в цепких водорослях», — Гаррис взял бы вас за локоть и сказал бы: «Я знаю, что с тобой такое, старина. Ты простудился. Идем-ка лучше со мной. Я нашел здесь за углом одно местечко, где можно выпить такого шотландского виски, какого ты еще не пробовал. Оно мигом приведет тебя в чувство».

Гаррис всегда знает местечко за углом, где можно получить что-нибудь замечательное в смысле выпивки. Я думаю, что, если бы Гаррис встретился вам в раю (допустим на минуту такую возможность), он бы приветствовал вас словами:

— Очень рад, что вы здесь, старина! Я нашел за углом хорошее местечко, где можно достать первосортный нектар.

Но в данном случае, в отношении ночевки под открытым небом, его практический взгляд на вещи послужил нам весьма своевременным

предупреждением. Ночевать на воздухе в дождливую погоду неприятно.

Вечер. Вы промокли насквозь, в лодке добрых два дюйма воды, и все вещи отсырели. Вы находите на берегу место, где как будто поменьше луж, выволакиваете палатку на сушу и вдвоем с кем-нибудь начинаете ее устанавливать.

Палатка вся пропиталась водой и стала очень тяжелой. Она хлопает краями и валится на вас или обвивается вокруг вашей головы и приводит вас в бешенство. А дождь льет не переставая. Палатку достаточно трудно укрепить и в сухую погоду, но когда идет дождь, эта задача по плечу одному Геркулесу. Вам кажется, что ваш товарищ, вместо того чтобы помогать, просто валяет дурака. Только вам удалось замечательно укрепить свою сторону, как он дергает за свой конец, и все идет насмарку.

— Эй, что ты там делаешь? — спрашиваете вы.

— А ты что делаешь? — отвечает он. — Пусти же!

Вы кричите:

— Не тяни, это ты все испортил, глупый осел!

— Нет, не я! — орет он в ответ. — Отпусти свой конец!

— Говорю тебе, ты все запутал! — кричите вы, жалея, что не можете до него добраться, и с такой силой дергаете за веревки, что с его стороны вылетают все колышки.

— Что за идиот! — слышится шепот. После этого следует отчаянный рывок — и ваша сторона падает.

Вы бросаете молоток и идете в обход палатки к вашему товарищу, чтобы высказать ему все, что вы об этом думаете. В это время он тоже пускается в путь в том же направлении, чтобы изложить вам свою точку зрения. И вы ходите кругом друг за другом и переругиваетесь, пока палатка не падает бесформенной кучей, а вы стоите над ее развалинами, глядя друг на друга, и в один голос негодуя восклицаете:

— Ну вот! Что я тебе говорил!

Между тем третий ваш товарищ, который, вычерпывая из лодки воду, налил себе в рукав и уже десять минут без передышки сыплет проклятиями, спрашивает, какую вы там, черт побери, затеяли игру и отчего эта паскудная палатка до сих пор не стоит как следует.

Наконец она с грехом пополам установлена, и вы начинаете переносить вещи. Пытаться развести костер бесполезно. Вы зажигаете спиртовку и располагаетесь вокруг нее. Основной предмет питания на ужин — дождевая вода. Хлеб состоит из воды на две трети, пирог с мясом чрезвычайно богат водой, варенье, масло, соль, кофе — все соединилось с нею, чтобы превратиться в похлебку.

После ужина выясняется, что табак отсырел и курить нельзя. К счастью, у вас имеется бутылка с веществом, которое, будучи принято в должном количестве, опьяняет и веселит, и вы снова начинаете достаточно интересоваться жизнью, чтобы улежся спать.

И вот вам снится, что на вас сел слон и что извержение вулкана бросило вас на дно моря вместе со слонем, который спокойно спит у вас на груди. Вы просыпаетесь и приходите к убеждению, что действительно случилось что-то ужасное. Прежде всего вам кажется, что пришел конец света, но потом вы решаете, что это невозможно и что на палатку напали воры или убийцы или, может быть, случился пожар. Вы выражаете эту мысль обычным способом, но помощь не приходит, и вы чувствуете, что вас пинают ногами тысячи людей и что вас душат.

Кто-то другой, кроме вас, тоже, кажется, попал в беду. Из-под кровати доносятся его слабые крики. Решив дорого продать свою жизнь, вы начинаете отчаянно бороться, раздавая во все стороны удары ногами и руками и непрерывно испуская дикие вопли. Наконец что-то подается, и ваша голова оказывается на свежем воздухе. В двух футах от себя вы смутно различаете какого-то полуодетого негодяя, готового вас убить, и намереваетесь завязать с ним борьбу не на жизнь, а на смерть, как вдруг вам становится очевидно, что это Джим.

— Ах, это ты, — говорит он, узнавая вас в ту же самую минуту.

— Да, — говорите вы, протирая глаза. — Что случилось?

— Проклятую палатку, кажется, сдуло, — отвечает Джим.

— Где Билл?

Вы оба кричите: «Билл!» — и почва под вами ходит ходуном, а заглушенный голос, который вы уже слышали, отвечает из-под развалин:

— Слезьте с моей головы, черти!

И Билл выбирается на поверхность — грязный, истоптанный, жалкий, измученный и чересчур воинственно настроенный. По-видимому, он твердо убежден, что вся эта шутка подстроена нарочно.

Утром вы все трое без голоса, так как ночью схватили сильную простуду. К тому же вы стали очень раздражительны и в продолжение всего завтрака переругиваетесь хриплым шепотом.

Итак, мы решили, что будем спать под открытым небом только в хорошую погоду, а в дождливые дни или просто для разнообразия станем ночевать в гостиницах, трактирах и постоялых дворах, как порядочные люди.

Монморенси отнесся к этому компромиссу весьма одобрительно. Романтика одиночества его не прельщает. Ему нужно что-нибудь шумное, а

если развлечение чуточку грубовато, что ж, тем веселей. Посмотрите на Монморенси — и вам покажется, что это ангел, по каким-то причинам, скрытым от человечества, посланный на землю в образе маленького фокстерьера. Монморенси глядит на вас с таким выражением, словно хочет сказать: «О, как испорчен этот мир и как бы я желал сделать его лучше и благороднее»; вид его вызывает слезы на глазах набожных старых дам и джентльменов.

Когда Монморенси перешел на мое иждивение, я никак не думал, что мне удастся надолго сохранить его у себя. Я сидел, смотрел на него (а он, сидя на коврике у камина, смотрел на меня) и думал: эта собака долго не проживет. Ее вознесут в колеснице на небо — вот что с ней произойдет. Но когда я заплатил за дюжину растерзанных Монморенси цыплят; когда он, рыча и брыкаясь, был вытащен мною за шиворот из сто четырнадцатой уличной драки; когда мне предъявили для осмотра дохлую кошку, принесенную разгневанной особой женского пола, которая обозвала меня убийцей; когда мой сосед подал на меня в суд за то, что я держу на свободе свирепого пса, из-за которого он больше двух часов просидел, как припильенный, в холодную ночь в своем собственном сарае, не смея высунуть нос за дверь; когда, наконец, я узнал, что мой садовник выиграл тридцать шиллингов, угадывая, сколько крыс Монморенси убьет в определенный промежуток времени, — я подумал, что его, может быть, и оставят еще немного пожить на этом свете.

Слоняться возле конюшен, собрать кучу самых отпетых собак, какие только есть в городе, и шествовать во главе их к трущобам, готовясь к бою с другими отпетыми собаками, — вот что Монморенси называет «жизнью». Поэтому, как я уже сказал, упоминание о гостиницах, трактирах и постоянных дворах вызвало у него живейшее одобрение.

Когда вопрос о ночевках был, таким образом, решен ко всеобщему удовольствию, оставалось обсудить лишь одно: что именно нам следует взять с собой. Мы начали было рассуждать об этом, но Гаррис заявил, что с него хватит разговоров на один вечер, и предложил пойти промочить горло. Он сказал, что нашел неподалеку от площади одно место, где можно получить глоток стоящего ирландского виски.

Джордж заявил, что чувствует жажду (я не знаю случая, когда бы он ее не чувствовал), и так как у меня тоже было ощущение, что некоторое количество виски — теплого, с кусочком лимона — принесет мне пользу, дебаты были с общего согласия отложены до следующего вечера, члены собрания надели шляпы и вышли.



## Глава третья

План уточняется. — Метод работы Гарриса. — Пожилой отец семейства вешает картину. — Джордж делает разумное замечание. — Прелести утреннего купанья. — Запасы на случай аварии.

Итак, на следующий день вечером мы снова встретились, чтобы обо всем договориться и обсудить наши планы. Гаррис сказал:

— Во-первых, нужно решить, что нам брать с собой. Возьми-ка кусок бумаги, Джей, и записывай. А ты, Джордж, достань прейскурانت бакалейной лавки. Пусть кто-нибудь даст мне карандаш, и я составлю список.

В этом сказался весь Гаррис: он так охотно берет на себя всю тяжесть работы и перекладывает ее на плечи других.

Он напоминает мне моего бедного дядю Поджера. Вам в жизни не приходилось видеть в доме такой суматохи, как когда дядя Поджер брался сделать какое-нибудь полезное дело. Положим, от рамочника привезли картину и поставили в столовую в ожидании, пока ее повесят.

Тетя Поджер спрашивает, что с ней делать. Дядя Поджер говорит:

— Предоставьте это мне. Пусть никто из вас об этом не беспокоится. Я все сделаю сам.

Потом он снимает пиджак и принимается за работу. Он посылает горничную купить гвоздей на шесть пенсов и шлет ей вдогонку одного из мальчиков, чтобы сказать ей, какой взять размер. Начиная с этой минуты, он постепенно запрягает в работу весь дом.

— Принеси-ка мне молоток, Уилл! — кричит он. — А ты, Том, подай линейку. Мне понадобится стремянка, и табуретку, пожалуй, тоже захватите. Джин, сбегай-ка к мистеру Гогглсу и скажи ему: «Папа вам кланяется и надеется, что нога у вас лучше, и просит вас одолжить ваш ватерпас». А ты, Мария, никуда не уходи: мне будет нужен кто-нибудь, чтобы подержать свечку. Когда горничная воротится, ей придется выйти еще раз и купить бечевки. Том! Где Том? Пойди сюда, ты мне понадобишься, чтобы подать мне картину.

Он поднимает картину и роняет ее. Картина вылетает из рамы, дядя Поджер хочет спасти стекло, и стекло врезается ему в руку. Он бежит по комнате и ищет свой носовой платок. Он не может найти его, так как платок лежит в кармане пиджака, который он снял, а он не помнит, куда дел

пиджак. Домочадцы перестают искать инструменты и начинают искать пиджак; дядя Поджер мечется по комнате и всем мешает.

— Неужели никто во всем доме не знает, где мой пиджак? Честное слово, я никогда еще не встречал таких людей! Вас шесть человек, и вы не можете найти пиджак, который я снял пять минут тому назад. Эх вы!

Тут он поднимается и видит, что все время сидел на своем пиджаке.

— Можете больше не искать! — кричит он. — Я уже нашел его. Рассчитывать на то, что вы что-нибудь найдете, — все равно что просить об этом кошку.

Ему перевязывают палец, достают другое стекло и приносят инструменты, стремянку, табуретку и свечу. На это уходит полчаса, после чего дядя Поджер снова берется за дело. Все семейство, включая горничную и поденщицу, становится полукругом, готовое прийти на помощь. Двое держат табуретку, третий помогает дяде Поджеру взлезть и поддерживает его, четвертый подает гвоздь, пятый — молоток. Дядя Поджер берет гвоздь и роняет его.

— Ну вот, — говорит он обиженно, — теперь гвоздь упал.

И всем нам приходится ползать на коленях и разыскивать гвоздь. А дядя Поджер стоит на табуретке, ворчит и спрашивает, не придется ли ему торчать там весь вечер.

Наконец гвоздь найден, но тем временем дядя Поджер потерял молоток.

— Где молоток? Куда я девал молоток? Великий Боже! Вы все стоите и глазеее на меня и не можете сказать, куда я положил молоток!

Мы находим ему молоток, а он успевает потерять заметку, которую сделал на стене в том месте, куда нужно вбить гвоздь. Он заставляет нас всех по очереди взлезать к нему на табуретку и искать ее. Каждый видит эту отметку в другом месте, и дядя Поджер обзывает нас одного за другим дураками и приказывает нам слезть. Он берет линейку и мерит снова. Оказывается, что ему необходимо разделить тридцать один и три восьмых дюйма пополам. Он пробует сделать это в уме и приходит в неистовство. Мы тоже пробуем сделать это в уме, и у всех получается разный результат. Мы начинаем издеваться друг над другом и в пылу ссоры забываем первоначальное число, так что дяде Поджеру приходится мерить еще раз.

Теперь он пускает в дело веревочку; в критический момент, когда старый чудак наклоняется на табуретке под углом в сорок пять градусов и пытается отметить точку, находящуюся на три дюйма дальше, чем он может достать, веревочка выскальзывает у него из рук, и он падает прямо на рояль. Внезапность, с которой он прикасается головой и всем телом к

клавишам, создает поистине замечательный музыкальный эффект.

Тетя Мария говорит, что она не может позволить детям стоять здесь и слушать такие выражения.

Наконец дядя Поджер находит подходящее место и приставляет к нему гвоздь левой рукой, держа молоток в правой. Первым же ударом он попадает себе по большому пальцу и с воплем роняет молоток прямо кому-то на ногу. Тетя Мария кротко выражает надежду, что когда дяде Поджеру опять захочется вбить в стену гвоздь, он заранее предупредит ее, чтобы она могла поехать на недельку к матери, пока он будет этим заниматься.

— Вы, женщины, всегда поднимаете из-за всего шум, — бодро говорит дядя Поджер. — А я так люблю поработать.

Потом он предпринимает новую попытку и вторым ударом вгоняет весь гвоздь и половину молотка в штукатурку. Самого дядю Поджера стремительно бросает к стене, и он чуть не расплющивает себе нос.

Затем нам приходится снова отыскивать веревочку и линейку, и пробивается еще одна дырка. Около полуночи картина наконец повешена — очень криво и ненадежно, и стена на много ярдов вокруг выглядит так, словно по ней прошли граблями. Мы все выбились из сил и злимся — все, кроме дяди Поджера.

— Ну, вот видите! — говорит он, тяжело спрыгивая с табуретки прямо на мозоли поденщице и с явной гордостью любуясь на произведенный им беспорядок. — А ведь некоторые люди пригласили бы для такой мелочи специального человека.

Я знаю — Гаррис будет таким же, когда вырастет. Я сказал ему это и заявил, что не могу позволить, чтобы он взял на себя столько работы.

— Нет, — сказал я, — ты принесешь бумагу и карандаш, Джордж будет записывать, а я сделаю остальное.

Первый наш список пришлось аннулировать. Было ясно, что в верхнем течении Темзы нельзя проплыть на лодке, достаточно большой, чтобы вместить все то, что мы считали необходимым. Мы разорвали список и молча переглянулись. Джордж сказал:

— Мы на совершенно ложном пути. Нам следует думать не о тех вещах, которыми мы как-нибудь обойдемся, но о тех, без которых нам никак не обойтись.

Джордж, оказывается, может иногда быть разумным. Это даже удивительно. Я бы сказал, что в его словах заключается подлинная мудрость, приложимая не только к настоящему случаю, но и ко всей нашей прогулке по реке жизни вообще. Сколь многие, рискуя затопить свой корабль, нагружают его всякими вещами, которые кажутся им

необходимыми для удовольствия и комфорта в пути, а на самом деле являются бесполезным хламом.

Как они загромождают свое утлое суденышко по самые мачты дорогими платьями и огромными домами, бесполезными слугами и множеством светских друзей, которые ни во что их не ставят и которых сами они не ценят, дорогостоящими увеселениями, которые никого не веселят, условностями и модами, притворством и тщеславием и — самый грузный и нелепый хлам — страхом, как бы сосед чего не подумал; роскошью, приводящей к пресыщению, удовольствиями, которые через день надоедают, бессмысленной пышностью, которая, как во дни оны железный венец преступников, заливают кровью наболевший лоб и доводит до обморока того, кто его носит!

Хлам, все хлам! Выбросьте его за борт! Это из-за него так тяжело вести лодку, что гребцы вот-вот свалятся замертво. Это он делает судно таким громоздким и неустойчивым. Вы не знаете ни минуты отдыха от тревог и беспокойства, не имеете ни минуты досуга, чтобы отдаться мечтательному безделью, у вас нет времени полюбоваться игрой теней, скользящих по поверхности реки, солнечными бликами на воде, высокими деревьями на берегу, глядящими на собственное свое отражение, золотом и зеленью лесов, лилиями, белыми и желтыми, темным колышущимся тростником, осокой, ятрышником и синими незабудками.

Выбросьте этот хлам за борт! Пусть ваша жизненная ладья будет легка и несет лишь то, что необходимо: уютный дом, простые удовольствия, двух-трех друзей, достойных называться друзьями, того, кто вас любит и кого вы любите, кошку, собаку, несколько трубок, сколько нужно еды и одежды и немножко больше, чем нужно, напитков, ибо жажда — опасная вещь.

Вы увидите, что тогда лодка пойдет свободно и не так легко опрокинется, а если и опрокинется — неважно: простой, хороший товар не боится воды. У вас будет время не только поработать, но и подумать, будет время, чтобы упиваться солнцем жизни и слушать эолову музыку, которую божественный ветерок извлекает из струн нашего сердца, будет время...

Извините, пожалуйста! Я совсем забыл...

Итак, мы предоставили список Джорджу, и он принялся за работу.

— Палатки мы не возьмем, — предложил Джордж. — У нас будет лодка с навесом. Это гораздо проще и к тому же удобней.

Мы нашли, что это хорошая мысль, и приняли ее. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь штуку, которую я имею в виду. По всей длине лодки укрепляют железные воротца, на них натягивают брезент и привязывают

его со всех сторон от кормы до носа так, что лодка превращается в маленький домик. В нем очень уютно, хотя и душновато, но все ведь имеет свои теневые стороны, как сказал человек, у которого умерла теща, когда от него потребовали денег на похороны.

Джордж сказал, что в таком случае нам нужно взять каждому по пледу, одну лампу, головную щетку и гребень (на троих), зубную щетку (по одной на каждого), умывальную чашку, зубной порошок, бритвенные принадлежности (не правда ли, это похоже на упражнение из учебника французского языка?) и пару больших купальных полотенец. Я заметил, что люди всегда делают колоссальные приготовления к купанью, когда собираются ехать куда-нибудь поближе к воде, но не очень много купаются, приехав на место.

То же самое происходит, когда едешь на море. Обдумывая свои планы в Лондоне, я неизменно решаю, что буду рано вставать и окунаться перед завтраком, и благоговейно укладываю в чемодан трусы и купальное полотенце. Я всегда покупаю красные трусы. Я нравлюсь себе в красных трусах. Они очень идут к моему цвету лица...

Но, оказавшись на берегу моря, я почему-то не чувствую больше такой потребности в утреннем купанье, какую чувствовал в городе. Я испытываю скорее желание как можно дольше оставаться в постели, а потом сойти вниз и позавтракать. Однако один раз добродетель восторжествовала. Я встал в шесть часов, наполовину оделся и, захватив трусы и полотенце, меланхолически побрел к морю. Но купанье не доставило мне радости. Когда я рано утром иду купаться, мне кажется, что для меня нарочно приберегли какой-то особенно резкий восточный ветер, выкопали и положили сверху все треугольные камешки, заострили концы скал, а чтобы я не заметил, прикрыли их песком; море же увели на две мили, так что мне приходится, дрожа от холода и кутаясь в собственные руки, долго ковылять по глубине в шесть дюймов. А когда я добираюсь до моря, оно ведет себя грубо и совершенно оскорбительно.

Сначала большая волна приподнимает меня и елико возможно бесцеремоннее бросает в сидячем положении на скалу, которую поставили здесь специально для меня. Не успею я вскрикнуть «ух!» и сообразить, что случилось, как волна возвращается и уносит меня на середину океана. Я отчаянно бью руками, порываясь к берегу, спрашиваю себя, увижу ли я еще родной дом и друзей, и сожалею, что в детстве так жестоко дразнил свою младшую сестру. Но в тот самый момент, когда я теряю всякую надежду, волна вдруг уходит, а я остаюсь распластанным на песке, точно медуза. Я поднимаюсь, оглядываюсь и вижу, что боролся за свою жизнь на глубине в

два фута. Я ковыляю назад, одеваюсь и иду домой, где мне приходится делать вид, что купанье мне понравилось.

В настоящем случае мы все рассуждали так, словно собирались каждое утро подолгу купаться. Джордж сказал, что очень приятно проснуться свежим утром на лодке и погрузиться в прозрачную реку. Гаррис сказал, что ничто так не возбуждает аппетита, как купанье перед завтраком. У него это всегда вызывает аппетит. Джордж заметил, что если Гаррис станет от купанья есть больше, чем обыкновенно, то он, Джордж, будет протестовать против того, чтобы Гаррис вообще лез в воду. Он сказал, что везти против течения количество пищи, необходимое для Гарриса, и так достаточно тяжелая работа.

Я доказывал Джорджу, что гораздо приятней будет иметь Гарриса в лодке чистым и свежим, даже если придется захватить на несколько центнеров больше провизии; Джордж принял мою точку зрения и взял обратно свой протест против купанья Гарриса.

Наконец мы уговорились захватить с собой не два, а три купальных полотенца, чтобы не заставлять друг друга ждать.

Что касается платья, то Джордж сказал, что двух фланелевых костюмов будет достаточно, так как мы сами можем стирать их в реке, когда они запачкаются. На наш вопрос, пробовал ли он когда-нибудь стирать в реке фланелевые костюмы, Джордж ответил:

— Нельзя сказать, чтобы я стирал их сам, но я знаю людей, которые стирали. Это не так уж и трудно.

Мы с Гаррисом были достаточно наивны, чтобы вообразить, что он знает, о чем говорит, и что три молодых человека, не пользующихся влиянием и положением в обществе и не имеющих опыта в стирке, действительно могут с помощью куска мыла вымыть свои рубашки и брюки в реке Темзе. В последующие дни, когда было уже поздно, нам пришлось убедиться, что Джордж — подлый обманщик, который, видимо, и понятия не имел об этом деле. Если бы вы видели нашу одежду после... Но, как говорится в дешевых уголовных романах, мы забегаем вперед.

Джордж уговорил нас взять с собой смену нижнего белья и достаточное количество носков на тот случай, если мы опрокинемся и потребуется переодеться. А также побольше носовых платков, которые пригодятся, чтобы вытирать разные вещи, и кожаные башмаки вдобавок к резиновым туфлям, они нам понадобятся, если мы перевернемся.

## Глава четвертая

Продовольственный вопрос. — Отрицательные свойства керосина. — Преимущества путешествия в компании с сыром. — Замужняя женщина бросает свой дом. — Дальнейшие меры на случай аварии. — Я укладываюсь. — Зловредность зубных щеток. — Джордж и Гаррис укладываются. — Чудовищное поведение Монморенси. — Мы отходим ко сну.

Потом мы начали обсуждать продовольственный вопрос. Джордж сказал:

— Начнем с утреннего завтрака. (Джордж всегда так практичен!) Для утреннего завтрака нам понадобится сковорода (Гаррис сказал, что она плохо переваривается, но мы предложили ему не быть ослом, и Джордж продолжал), чайник и спиртовка.

— Ни капли керосина, — сказал Джордж многозначительно, и мы с Гаррисом согласились.

Один раз мы взяли с собой керосинку, но больше — никогда! Целую неделю мы как будто жили в керосиновой лавке. Керосин просачивался всюду. Я никогда не видел, чтобы что-нибудь так просачивалось, как керосин. Мы держали его на носу лодки, и оттуда он просочился до самого руля, пропитав лодку и все ее содержимое. Он растекся по всей реке, заполнил собой пейзаж и отравил воздух. Иногда керосиновый ветер дул с запада, иногда с востока, а иной раз это был северный керосиновый ветер или, может быть, южный, но, прилетал ли он из снежной Арктики, или зарождался в песках пустыни, он всегда достигал нас, насыщенный ароматом керосина.

Этот керосин просачивался все дальше и портил нам закат. Что же касается лучей луны, то от них просто разило керосином.

Мы попытались уйти от него в Марло. Чтобы избавиться от керосина, мы оставили лодку у моста и пошли по городу пешком, но он неотступно следовал за нами. Весь город был полон керосина. Мы проходили по кладбищу, и нам казалось, что покойников закопали в керосин. Главная улица провоняла керосином; мы не могли понять, как на ней можно жить. Милю за милей проходили мы по Бирмингемской дороге, но бесполезно: вся местность пропиталась керосином.

В конце концов мы сошлись в полночь в безлюдном поле, под сожженным молнией дубом, и дали страшную клятву (мы уже и так целую неделю кляли керосин в обычном обывательском стиле, но теперь это было

нечто грандиозное), — страшную клятву никогда больше не брать с собой в лодку керосин, разве только на случай болезни.

Итак, на этот раз мы ограничились спиртом. Это тоже достаточно плохо. Приходится есть спиртовой пирог и спиртовое печенье. Но спирт, принимаемый внутрь в больших количествах, полезнее, чем керосин.

Из прочих вещей Джордж предложил взять для первого завтрака яйца с ветчиной, которые легко приготовить, холодное мясо, чай, хлеб с маслом и варенье. Для второго завтрака он рекомендовал печенье, холодное мясо, хлеб с маслом и варенье, но только не сыр. Сыр, как и керосин, слишком много о себе воображает. Он хочет захватить для себя всю лодку. Он проникает сквозь корзину и придает всему привкус сыра. Вы не знаете, что вы едите, — яблочный пирог, сосиски или клубнику со сливками. Все кажется вам сыром. У сыра слишком много запаха.

Помню, один мой друг купил как-то в Ливерпуле пару сыров. Чудесные это были сыры — выдержанные, острые, с запахом в двести лошадиных сил. Он распространялся минимум на три мили, а за двести ярдов валил человека с ног. Я как раз был тогда в Ливерпуле, и мой друг попросил меня, если я ничего не имею против, отвезти его покупку в Лондон. Он сам вернется туда только через день-два, а этот сыр, как ему кажется, не следует хранить особенно долго.

— С удовольствием, дружище, — ответил я. — С удовольствием.

Я заехал за сыром и увез его в кебе. Это была ветхая колымага, влекомая кривоногим запаленным лунатиком, которого его хозяин в минуту увлечения, разговаривая со мной, назвал лошадью. Я положил сыр наверх, и мы тронулись со скоростью, которая сделала бы честь самому быстрому паровому катку в мире. Все шло весело, как на похоронах, пока мы не повернули за угол. Тут ветер ударил запахом сыра прямо в ноздри нашему рысаку. Это пробудило его, и, фыркнув от ужаса, он ринулся вперед с резвостью трех миль в час. Ветер продолжал дуть в его сторону, и мы еще не достигли конца улицы, как наш конь уже стлался по земле, делая почти четыре мили в час и оставляя за флагом всех калек и толстых пожилых дам.

Чтобы остановить его у вокзала, потребовались усилия двух носильщиков и возницы. Я думаю, что даже они не могли бы это сделать, если бы одному из носильщиков не пришлось в голову накинуть на морду лошади носовой платок и зажечь у нее под носом кусок оберточной бумаги.

Я взял билет и, гордо неся свои сыры, вышел на платформу; народ почтительно расступался передо мной. Поезд был битком набит, и мне пришлось войти в отделение, где уже и так сидело семь человек пассажиров. Один сварливый старый джентльмен запротестовал было, но я



все же вошел, положил свои сыры в сетку, втиснулся на скамью и с приятной улыбкой сказал, что сегодня тепло. Прошло несколько минут, и старый джентльмен начал беспокойно ерзать на месте.

— Здесь очень душно, — сказал он.

— Совершенно нечем дышать, — подтвердил его сосед. Потом оба потянули носом и, сразу попав в самую точку, встали и молча вышли. После них поднялась старая дама и сказала, что стыдно так обращаться с почтенной замужней женщиной. Она взяла чемодан и восемь свертков и ушла. Четыре оставшихся пассажира некоторое время продолжали сидеть, но потом какой-то сумрачный господин в углу, принадлежавший, судя по одежде и внешнему облику, к классу гробовщиков, сказал, что ему невольно вспомнились мертвые дети. Тут остальные три пассажира сделали попытку выйти из двери одновременно и ушиблись об косяки.

Я улыбнулся мрачному джентльмену и сказал, что мы, кажется, останемся в отделении вдвоем. Он добродушно засмеялся и заметил, что некоторые люди любят поднимать шум из-за пустяков. Но когда мы тронулись, он тоже пришел в какое-то подавленное состояние, так что по приезде в Кру я предложил ему пойти со мной выпить. Он согласился, и мы с трудом пробились в буфет, где с четверть часа кричали, стучали ногами и махали зонтиками. Наконец к нам подошла барышня и спросила, чего бы мы хотели.

— Что будем пить? — обратился я к моему спутнику.

— Мне, пожалуйста, на полкроны чистого бренди, мисс, — сказал он.

А потом, выпив свое бренди, он незаметно удалился и сел в другой вагон, что я расценил как низость.

От Кру я ехал в отделении один, хотя поезд был набит до отказа. Когда он подходил к станциям, публика, видя пустое купе, бросалась к дверям. «Сюда, Мария, иди сюда, масса мест!» — «Прекрасно, Том, мы сядем здесь!». И они бежали, таща свои тяжелые чемоданы, и толкались у дверей, чтобы войти первыми. Кто-нибудь открывал дверь и поднимался на ступеньки, но сейчас же, шатаясь, падал на руки соседа. За ним входили остальные и, потянув носом, тут же соскакивали и втискивались в другие вагоны или доплачивали разницу и ехали в первом классе.

С Юстонского вокзала я отвез сыры на квартиру моего приятеля. Его жена, войдя в комнату, понюхала воздух и спросила:

— Что случилось? Скажите мне все, даже самое худшее. Я ответил:

— Это сыр. Том купил его в Ливерпуле и просил меня привезти его к вам. Надеюсь, вы понимаете, — прибавил я, — что сам я здесь ни при чем.

Она сказала, что уверена в этом, но что, когда Том вернется, она с ним

еще поговорит.

Мой приятель задержался в Ливерпуле дольше, чем думал. Когда прошло три дня и он не вернулся, его жена явилась ко мне. Она спросила:

— Что говорил Том насчет этих сыров?

Я ответил, что он рекомендовал держать их в не очень сухом месте и просил, чтобы никто к ним не прикасался.

— Сомнительно, чтобы кто-нибудь прикоснулся к ним, — сказала жена Тома. — А он их нюхал?

Я выразил предположение, что да, и прибавил, что он, видимо, очень дорожит этими сырами.

— Как вы думаете, Том очень огорчится, если я дам кому-нибудь соверен и попрошу унести эти сыры и закопать их в землю? — спросила жена Тома.

Я ответил, что, по моему мнению, он после этого ни разу больше не улыбнется.

Ей пришла в голову новая идея. Она сказала:

— Не согласитесь ли вы подержать их у себя до приезда Тома? Позвольте мне прислать их к вам.

— Сударыня, — ответил я, — что касается меня лично, то я люблю запах сыра и путешествие с этими сырами из Ливерпуля всегда буду вспоминать как счастливое завершение приятного отпуска. Но на нашей земле приходится считаться с другими. Дама, под кровом которой я имею честь обитать, вдова и, насколько я знаю, сирота. Она энергично, я бы даже сказал — красноречиво, возражает против того, чтобы ее, по ее выражению, «обижали». Наличие в ее доме сыров вашего мужа — я это инстинктивно чувствую — она воспримет как обиду. А я не допущу, чтобы про меня говорили, будто я обижаю вдов и сирот.

— Прекрасно, — сказала жена Тома и встала. — Тогда мне остается одно: я заберу детей и перееду в гостиницу на то время, пока этот сыр не будет съеден. Я отказываюсь Жить с ним под одной кровлей.

Она сдержала слово и оставила квартиру на попечение служанки. Последняя, на вопрос, может ли она выносить этот запах, ответила: «Какой запах?» — а когда ее подвели близко к сыру и предложили хорошенько понюхать, сказала, что чувствует легкий запах дыни. Из этого был сделан вывод, что такая атмосфера не принесет служанке особого вреда, и ее оставили в квартире.

Счет из гостиницы составил пятнадцать гиней, и мой приятель, подытожив все расходы, выяснил, что сыр обошелся ему по восемь шиллингов и шесть пенсов фунт. Он сказал, что очень любит съесть иногда

кусочек сыра, но что это ему не по средствам, и решил от него избавиться. Он выбросил сыр в канал, но его пришлось оттуда выудить, так как лодочники подали жалобу. Они сказали, что им делается дурно. После этого мой приятель в одну темную ночь отнес свой сыр в покойницкую при церкви. Но коронер<sup>[2]</sup> обнаружил сыр и поднял ужасный шум. Он сказал, что это заговор, имеющий целью лишить его средств к существованию путем оживления мертвецов.

В конце концов мой приятель избавился от своего сыра: он увез его в один приморский город и закопал на пляже. Это создало городу своеобразную славу. Приезжие говорили, что только теперь заметили, какой там бодрящий воздух, и еще много лет подряд туда толпами съезжались слабогрудые и чахоточные.

Поэтому, хоть я и очень люблю сыр, но считаю, что Джордж был прав, отказываясь взять его с собою.

— Чая мы пить не будем, — сказал Джордж (лицо у Гарриса вытянулось), — но мы будем основательно, плотно, шикарно обедать в семь часов. Это будет одновременно и чай, и обед, и ужин.

Гаррис несколько повеселел. Джордж предложил взять с собой мясные и фруктовые пироги, холодное мясо, помидоры, фрукты и зелень. Для питья мы запаслись какой-то удивительно липкой микстурой, изготовленной Гаррисом, которую смешивают с водой и называют лимонадом, достаточным количеством чая и бутылкой виски — на случай аварии, как сказал Джордж.

Мне казалось, что Джордж слишком уж много говорит об аварии. Это не дело — пускаться в путь с такими мыслями.

Но все же хорошо, что мы захватили с собой виски.

Вина и пива мы с собой не взяли. Пить их на реке — большая оплошность. От них становишься грузным и сонливым. Стакан пива вечером, когда вы бродите по городу, глаза на девушек, — это еще ничего. Но не пейте, когда солнце припекает вам голову и вам предстоит тяжелая работа.

Прежде чем разойтись, мы составили список вещей, которые нужно было захватить, — довольно длинный список! На следующий день, в пятницу, мы собрали все вещи в одно место, а вечером сошлись, чтобы уложиться. Мы достали большой чемодан для белья и платья и две корзины под провизию и посуду. Стол мы отодвинули к окну, вещи свалили в кучу посреди пола и, усевшись в кружок, долго смотрели на них.

— Я буду укладывать, — сказал я.

Я горжусь своим умением укладывать. Это одно из многих дел,

которые я, по моему глубокому убеждению, умею делать лучше всех на свете (меня самого иногда удивляет, сколько существует таких дел). Я убедил в этом Джорджа и Гарриса и сказал, что лучше всего будет предоставить всю эту работу мне одному. Они приняли это предложение с удивительной готовностью. Джордж зажег трубку и улегся в кресло. Гаррис закурил сигару и развалился в другом кресле, закинув ноги на стол.

Это было не совсем то, чего я ожидал. Я предполагал, разумеется, что Гаррис и Джордж будут действовать по моим указаниям, а сам собирался только руководить работой, то и дело отталкивая их и прикрикивая: «Эх вы! Дайте-ка я сам сделаю. Видите, как это просто!». Я думал, так сказать, о роли учителя. То, что они поняли это иначе, раздражало меня. Ничто меня так не раздражает, как вид людей, которые сидят и ничего не делают, когда я работаю.

Мне как-то пришлось жить с одним человеком, который доводил меня таким образом до бешенства. Он часами валялся на диване и смотрел, как я тружусь; его взор следовал за мной, куда бы я ни направился. Он говорил, что ему прямо-таки полезно смотреть, как я работаю. Он понимает тогда, что жизнь — это не праздные мечты, не сплошная скука и зевота, но благородное дело, в котором главное — чувство долга и суровый труд. Он, по его словам, часто удивлялся, как ему удалось прожить до встречи со мной, когда он не имел возможности смотреть на кого-нибудь, кто работает.

Ну, а я совсем другой человек. Я не могу спокойно сидеть и смотреть, как кто-нибудь трудится. Мне хочется встать и распоряжаться, расхаживать по комнате, заложив руки в карманы, и указывать, что надо делать. Такая уж у меня деятельная натура.

Тем не менее я не сказал ни слова и начал укладываться. Эта работа потребовала больше времени, чем я предполагал, но, наконец, я уложил чемодан и, сев на него, начал затягивать ремни.

— А сапоги ты не будешь укладывать? — спросил Гаррис.

Я оглянулся и увидел, что забыл уложить сапоги. Это очень похоже на Гарриса. Он, конечно, не вымолвил ни слова, пока я не уложил чемодан и не затянул ремни. Джордж засмеялся своим раздражающим, тупым, бессмысленным, неприятным смехом. Как они оба меня бесят!

Я раскрыл чемодан и уложил сапоги. Когда я собирался его закрыть, мне вдруг пришла в голову ужасная мысль: уложил ли я свою зубную щетку. Непонятно почему, но я никогда не знаю, уложил ли я свою зубную щетку.

Когда я путешествую, зубная щетка преследует меня как кошмар и превращает мою жизнь в сплошную муку. Мне снится, что я ее не уложил,

и я просыпаюсь в холодном поту и начинаю ее разыскивать. А утром я укладываю ее, еще не почистив зубы, и вынужден снова распаковывать вещи, и щетка всегда оказывается на самом дне чемодана. Потом я укладываюсь снова и забываю щетку, и мне приходится в последний момент мчаться за нею наверх и везти ее на вокзал в носовом платке.

Мне, разумеется, и теперь пришлось вывернуть из чемодана все вещи до последней, и, разумеется, я не нашел щетки. Я привел наши пожитки приблизительно в такое состояние, в каком они, вероятно, были до сотворения мира, когда царил первобытный хаос. Конечно, мне восемнадцать раз попадались под руку щетки Джорджа и Гарриса, но своей щетки я найти не мог. Я переложил одну за другой все вещи, поднимая их и встряхивая. Наконец я нашел мою щетку в одном из башмаков. Я уложил чемодан снова.

Когда я кончил, Джордж спросил, уложено ли мыло. Я ответил, что мне наплевать, уложено мыло или нет, и, с шумом захлопнув чемодан, затянул ремни. Но оказалось, что я запаковал туда мой кисет с табаком, и мне пришлось открывать чемодан еще раз.

В десять часов пять минут вечера он был окончательно закрыт, и теперь предстояло только уложить корзинки с провизией. Гаррис сказал, что до отъезда осталось меньше полусуток и что ему с Джорджем, пожалуй, следует взять оставшуюся работу на себя. Я согласился и сел, а они принялись за дело.

Начали они весело, намереваясь, по-видимому, показать мне, как надо укладываться. Я не делал никаких замечаний, я просто ждал.

Когда Джорджа повесят, Гаррис будет самым плохим укладчиком в мире. Я смотрел на груды тарелок, чашек, кастрюль, бутылок, банок, пирогов, спиртовок, бисквитов, помидоров и пр. и предвкушал великое наслаждение.

Надежды мои оправдались. Прежде всего Гаррис с Джорджем разбили чашку. Они сделали это лишь для того, чтобы показать, на что они способны, и вызвать к себе интерес.

Затем Гаррис положил банку с клубничным вареньем на помидор и раздавил его. Помидор пришлось извлекать чайной ложкой. Затем настала очередь Джорджа, и он наступил на масло. Я не сказал ни слова, я только подошел ближе и, усевшись на край стола, наблюдал за ними. Я чувствовал, что это раздражает их больше, чем самые колкие слова. Они волновались, нервничали; они роняли то одно, то другое, без конца искали вещи, которые сами же перед тем ухитрились спрятать. Они запихивали пироги на дно и клали тяжелые вещи сверху, так что пироги превращались

в месиво. Все, что возможно, они посыпали солью, а что касается масла, то я никогда не видел, чтобы два человека столько возились с куском масла стоимостью в четырнадцать пенсов.

Когда Джордж отскреб масло от своей туфли, они попробовали запихнуть его в котелок. Но оно не входило, а то, что уже вошло, не хотело вылезать. Наконец они выскребли его оттуда и положили на стул, а Гаррис сел на этот стул, и масло прилипло к его брюкам, и они принялись его искать по всей комнате.

— Готов присягнуть, что я положил его на этот стул, — сказал Джордж, тараща глаза на пустое сиденье.

— Я сам это видел минуту назад, — подтвердил Гаррис.

Они снова обошли всю комнату в поисках масла и, сойдясь посередине, уставились друг на друга.

— Это просто поразительно, — сказал Джордж.

— Настоящая загадка! — сказал Гаррис.

Наконец Джордж обошел вокруг Гарриса и увидел масло.

— Оно же все время было здесь! — с негодованием воскликнул Джордж.

— Где? — вскричал Гаррис, круто поворачиваясь на каблуках.

— Стой смирно! — завопил Джордж, устремляясь за Гаррисом. Они отскребли масло от брюк и уложили его в чайник. Монморенси, разумеется, принимал во всем этом участие.

Жизненный идеал Монморенси состоит в том, чтобы всем мешать и выслушивать брань по своему адресу. Лишь бы втереться куда-нибудь, где его присутствие особенно нежелательно, всем надоесть, довести людей до бешенства и заставить их швырять ему в голову разные предметы — тогда он чувствует, что провел время с пользой.

Высшая цель и мечта этого пса — попасть кому-нибудь под ноги и заставить проклинать себя в течение целого часа. Когда ему это удастся, его самомнение становится совершенно нестерпимым.

Монморенси садился на разные предметы в тот самый момент, когда их нужно было укладывать, и не сомневался ни минуты, что, когда Гаррис или Джордж протягивают за чем-нибудь руку, им нужен его холодный, влажный нос. Он совал лапу в варенье, разбрасывал чайные ложки и делал вид, что думает, будто лимоны — это крысы. Ему удалось проникнуть в корзину и убить их целых три штуки, пока, наконец, Гаррис изловчился попасть в него сковородкой. Гаррис сказал, что я науськиваю собаку. Я ее не науськивал. Такая собака не нуждается в науськивании. Ее толкает на все эти проделки врожденный инстинкт, так сказать, первородный грех.

В двенадцать пятьдесят укладка была окончена. Гаррис сел на корзину и выразил надежду, что ничто не окажется разбитым. Джордж заметил, что если чему-нибудь было суждено разбиться, то это уже случилось, и такое соображение, по-видимому, его утешило. Он добавил, что не прочь поспать. Мы все были не прочь поспать. Гаррис должен был ночевать у нас, и мы втроем поднялись наверх.

Мы кинули жребий, кому где спать, и вышло, что Гаррис ляжет со мной.

— Как ты больше любишь, Джей, — внутри или с краю? — спросил он.

Я ответил, что вообще предпочитаю спать внутри постели.

Гаррис сказал, что это старо. Джордж спросил:

— В котором часу мне вас разбудить?

— В семь, — сказал Гаррис.

— Нет, в шесть, — сказал я. Мне хотелось еще написать несколько писем. Мы с Гаррисом немного повздорили из-за этого, но в конце концов разделили спорный час пополам и сошлись на половине седьмого.

— Разбуди нас в шесть тридцать, Джордж, — сказали мы.

Ответа не последовало, и, подойдя к Джорджу, мы обнаружили, что он уже некоторое время спит. Мы поставили рядом с ним ванну, чтобы он мог утром вскочить в нее прямо с постели, и тоже легли спать.

## Глава пятая

Миссис П. будит нас. — Джордж — лентяй. — Надувательство с предсказанием погоды. — Наш багаж. — Испорченный мальчишка. — Вокруг нас собирается толпа. — Мы торжественно отбываем и приезжаем на вокзал Ватерлоо. — Блаженное неведение служащих Юго-Западной дороги касательно столь суетных вопросов, как отправление поездов. — По волнам, по волнам, мы плывем в открытой лодке!..

Разбудила меня на следующее утро миссис Попетс. Она сказала:

— Знаете ли вы, сэр, что уже девять часов?

— Девять чего? — закричал я, вскакивая.

— Девять часов, сэр, — ответила она через замочную скважину. — Я уже подумала, как бы вам не проспать.

Я разбудил Гарриса и сообщил ему, в чем дело.

Он сказал:

— Ты же хотел встать в шесть?

— Ну да, — ответил я. — Почему ты меня не разбудил?

— Как же я мог тебя разбудить, если ты не разбудил меня? — возразил Гаррис. — Теперь мы попадем на реку не раньше двенадцати. Не понимаю, зачем ты вообще собрался вставать.

— Гм! Твое счастье! — заметил я. — Не разбуди я тебя, ты бы так и пролежал все две недели.

Мы еще несколько минут огрызались друг на друга, как вдруг нас прервал вызывающий храп Джорджа. Впервые, с тех пор как нас разбудили, этот звук напомнил нам о его существовании. Вот он лежит — тот, кто спрашивал, когда ему разбудить нас, лежит на спине, рот разинут, колени торчком.

Не знаю почему, но вид человека, который спит, когда я уже встал, приводит меня в неистовство. Меня возмущает, что драгоценные часы нашей жизни, эти чудесные мгновения, которые никогда уже не вернутся, бесцельно тратятся на скотский сон. Вот и Джордж, поддавшись отвратительной лени, проматывает неоценимый дар времени — его драгоценная жизнь, за каждую секунду которой ему придется впоследствии держать ответ, уходит от него неиспользованная. Он мог бы сейчас набивать свою утробу грудинкой с яйцами, дразнить пса или заигрывать с горничной, а он вместо того валяется здесь, погруженный в мертвящее душу забытие.

Это была ужасная мысль. И Гарриса и меня она, видимо, поразила



одновременно. Мы решили спасти Джорджа, и это благородное намерение заставило нас забыть нашу размолвку. Мы ринулись к Джорджу и стянули с него одеяло. Гаррис отвесил ему шлепок туфлей, я крикнул ему в ухо, и Джордж проснулся.

— Что такое? — спросил он, садясь на постели.

— Вставай, дубина ты этакая! — заорал Гаррис. — Уже без четверти десять.

— Что! — взвизгнул Джордж, соскакивая с постели прямо в ванну. — Кто это, черт побери, поставил сюда эту гадость?

Мы сказали ему, что нужно быть дураком, чтобы не заметить ванны.

Мы кончили одеваться, но когда дело дошло до тонкостей туалета, оказалось, что зубные щетки и головная щетка с гребнем уложены. Эта зубная щетка когда-нибудь сведет меня в могилу. Пришлось идти вниз и выуживать их из чемодана. Когда мы с этим покончили, Джорджу вдруг понадобился бритвенный прибор. Мы сказали, что сегодня ему придется обойтись без бритья, так как мы не намерены еще раз развязывать чемодан для него или для кого-нибудь ему подобного:

— Не говорите глупостей, — сказал Джордж. — Как я могу пойти в Сити в таком виде?

Это, конечно, было довольно жестоко по отношению к Сити, но что нам за дело до человеческих страданий? Как выразился со своей обычной пошлой грубостью Гаррис, Сити от этого не убудет.

Мы спустились завтракать. Монморенси пригласил еще двух собак проводить его, и они, чтобы скоротать время, дрались на ступеньках крыльца. Мы успокоили их зонтиком и принялись за котлеты и холодное мясо.

— Великое дело — хорошо позавтракать, — сказал Гаррис.

Он начал с пары бараньих котлет, заявляя, что хочет съесть их, пока они горячие, а говядина может подождать.

Джордж завладел газетой и прочитал нам сообщение о несчастных случаях с лодками и предсказание погоды, которое гласило: «Холод, дождь с последующим прояснением (все, что может быть наиболее ужасного в области погоды), местами грозы, ветер восточный, общее понижение давления в районе центральных графств (до Лондона и Ла-Манша), барометр падает».

По-моему, из всей той бессмысленной чепухи, которой досаждают нам жизнь, надувательство с «предсказанием погоды», пожалуй, наиболее неприятно. Нам «предсказывают» в точности то, что произошло вчера или третьего дня, и совершенно противоположное тому, что произойдет

сегодня.

Я припоминаю, как испортили прошлой осенью мой отпуск известия о погоде в местной газете.

«Сегодня ожидаются ливни и проходящие грозы», — сообщала эта газета в понедельник, и мы отменяли намеченный пикник и сидели в комнате, ожидая дождя. А мимо нашего дома проезжали в колясках и шарабанах веселые, оживленные компании, солнце сияло вовсю, и на небе не было видно ни облачка.

— Ага, — говорили мы, стоя у окна и смотря на них. — Ну и промокнут же они сегодня!

Мы ухмылялись, думая о том, в каком виде они вернутся, и, усевшись у камина, помешивали огонь и приводили в порядок собранные нами образцы водорослей и ракушек. В полдень солнце заливало всю комнату, жара становилась невыносимой, и мы спрашивали себя, когда же, наконец, начнутся эти ливни и проходящие грозы.

— Увидите, они разразятся после обеда! — говорили мы друг другу. — Ну и вымочит же их там на пикнике. Вот забавно!

В час приходила хозяйка и спрашивала, не пойдем ли мы гулять, ведь на дворе такая хорошая погода.

— Нет, нет, — говорили мы, хитро улыбаясь. — Мы-то не пойдем. Нам не хочется вымокнуть — о нет! — А когда день почти миновал и все еще не было и признака дождя, мы пытались развеселить друг друга мыслью, что он начнется неожиданно, как раз в ту минуту, когда гуляющие тронутся в обратный путь и будут далеко от всякого жилья и промокнут до костей. Но с неба так и не упало ни капли, и этот великолепный день миновал, сменившись чудесным вечером.

Наутро мы прочли, что будет «теплый, ясный день, жара». Мы оделись полегче и пошли гулять; через полчаса после того, как мы вышли, начался сильный дождь, поднялся резкий, холодный ветер. И то и другое продолжалось до вечера. Мы вернулись домой простуженные, с ревматизмом во всем теле и легли спать.

Погода — выше моего разумения. Я никогда не могу разобраться в ней. Барометр бесполезен. Он так же обманывает, как предсказания газет.

В одной гостинице в Оксфорде, где я жил прошлой весной, висел барометр. Когда я приехал туда, он стоял на «ясно». На дворе лило как из ведра, и дождь продолжался целый день. Это было непонятно. Я постучал по барометру, и стрелка перескочила на «великую сушь». Коридорный, проходивший мимо, остановился и сказал, что, по его мнению, имеется в виду завтрашний день. Я решил, что, может быть, барометр вспоминает о

прошлой неделе, но коридорный сказал: «Нет, не думаю». На другой день утром я снова постучал по барометру, и он поднялся еще выше, а дождь лил все сильней и сильней. В среду я подошел и ударил его снова, и стрелка пошла кругом через «ясно», «жара» и «великая сушь», пока не остановилась у шпенька, не будучи в состоянии двинуться дальше. Она старалась, как могла, но инструмент был сделан на совесть и не мог предвещать хорошую погоду еще более энергично. Ему явно хотелось идти дальше и предсказывать засуху, водяной голод, солнечный удар, самум и прочие подобные вещи, но шпенек препятствовал этому, и барометру пришлось удовольствоваться указанием на банальную «великую сушь»!

Между тем дождик лил потоками. Нижнюю часть города затопило, так как река вышла из берегов.

Коридорный сказал, что, очевидно, когда-нибудь наступит продолжительный период великолепной погоды, и прочитал стихи, написанные на верхней части прорицателя:

*За долгий срок предскажешь — так долго и продлится,  
А скажешь незадолго — так быстро прекратится.*

Хорошая погода так и не наступила в то лето. Я думаю, этот метеорологический прибор имел в виду будущую весну.

Существуют еще барометры новой формации — такие высокие, прямые. Я никогда не мог ничего в них разобрать. Одна сторона у них служит для десяти утра минувшего дня, другая для десяти утра на сегодня, но не всегда ведь удастся подойти к барометру так рано. Он поднимается и падает при дожде и хорошей погоде, с сильным или слабым ветром; на одном конце его стоит «Вос», на другом — «Сев» (при чем тут сев, скажите, пожалуйста?), а если его постучать, все равно ничего не узнаешь. Приходится еще вносить поправку на уровень моря и переводить градусы на шкалу Фаренгейта, и даже тогда не знаешь, чего следует ожидать.

Но кому нужно знать погоду заранее? И без того плохо, когда она портится, зачем же еще мучиться вперед? Прорицатель, приятный нам, — это старичок, который в какое-нибудь совсем уже мрачное утро, когда нам особенно необходима хорошая погода, опытным глазом оглядывает горизонт и говорит:

— О нет, сэр, я думаю, прояснится. Погода будет хорошая, сэр.

— Ну, он-то знает, — говорим мы, дружески прощаясь с ним и пускаясь в путь. — Удивительно, как эти старички знают все приметы.

И мы испытываем к этому человеку расположение, на которое несколько не влияет то обстоятельство, что погода не прояснилась и дождь непрерывно лил весь день.

«Он сделал все, что мог», — думаем мы.

К человеку же, который предвещает плохую погоду, мы, наоборот, питаем самые злобные, мстительные чувства.

— Ну как, по-вашему, прояснится? — весело кричим мы ему, проезжая мимо.

— Нет, сэр. Боюсь, что дождь зарядил на весь день, — отвечает он, качая головой.

— Старый дурак! — бормочем мы про себя. — Много он понимает! — И если его пророчества сбываются, мы, возвращаясь домой, еще больше злимся на него, думая про себя, что и он тоже отчасти тут виноват.

В день нашего отъезда было слишком ясно и солнечно, чтобы леденящие кровь сообщения Джорджа о «падении барометра», о «циклонах, проходящих над южной частью Европы», и «усиливающимся давлении» могли особенно нас расстроить. Видя, что он не в силах нагнать на нас уныние и только попусту тратит время, Джордж стащил папироску, которую я так любовно скрутил для себя, и ушел.

После этого мы с Гаррисом, прикончив то небольшое, что оставалось на столе, вынесли наши пожитки на крыльцо и стали ждать извозчика. Когда весь багаж сложили вместе, его оказалось достаточно. Большой чемодан, ручной сак, две корзины, объемистый сверток пледов, четыре или пять плащей и накидок, столько же зонтиков, дыня в отдельном мешке (она была слишком громоздкой, и ее некуда было засунуть), фунта два винограду (тоже в отдельном мешке), японский бумажный зонтик и сковорода. Она оказалась чересчур длинной, чтобы уложить ее куда-нибудь, и мы просто завернули ее в бумагу.

В общем, вещей на вид было довольно много, и мы с Гаррисом чувствовали себя несколько смущенно, хотя я сам не понимал, чего нам было стыдиться. Вблизи не было видно ни одного экипажа. Зато уличных мальчишек было сколько угодно. Зрелище, видимо, заинтересовало их, и они начали останавливаться.

Первым к нам подошел Биггсов мальчишка. Биггс — это наш зеленщик. Его главный талант заключается в том, что он где-то выкапывает и берет к себе на работу самых распущенных и безнравственных мальчишек, каких только создала цивилизация. Если по соседству случалась какая-нибудь особенно гнусная шалость, мы так уже и знали, что это натворил последний Биггсов мальчишка. Говорят, что, когда произошло

убийство на Грейт-Корам-стрит, все обитатели нашего квартала быстро пришли к заключению, что это дело рук тогдашнего Биггсова мальчишки. Не будь он в состоянии доказать свое полное алиби при строгом допросе, которому его подверг жилец дома № 19, когда он зашел за заказами, Биггсову мальчишке пришлось бы круто.

Я в то время не знал этого мальчика, но, судя по поведению его преемников, я не придавал бы особого значения этому «алиби».

Как я уже сказал, Биггсов мальчишка вышел из-за угла. Он, видимо, очень спешил, когда впервые появился в поле нашего зрения, но, заметив нас с Гаррисом, Монморенси и наши вещи, сбавил ход и устоял на нас. Мы с Гаррисом сурово посмотрели на него. Это могло бы обидеть более чуткое существо, но мальчишки от Биггса, как правило, не отличаются чувствительностью. Он остановился на расстоянии ярда от наших дверей, выбрал себе соломинку для жеванья и, опершись на перила, устремил на нас глаза. По-видимому, он решил досмотреть весь спектакль до конца.

Через минуту на другой стороне улицы появился мальчик от бакалейщика. Биггсов мальчишка крикнул ему:

— Эй, нижние из сорок второго переезжают!

Мальчик от бакалейщика перешел через дорогу и занял позицию с другой стороны крыльца. Потом возле Биггсова мальчишки остановился молодой человек из сапожного магазина, а надсмотрщик за пустыми жестянками из «Голубого столба» занял самостоятельную позицию у обочины.

— Они, видать, не помрут с голоду, а? — заметил юноша из сапожного магазина.

— Ты бы тоже небось захватил с собой кое-что, если бы вздумал переплыть океан на маленькой лодочке, — возразил «Голубой столб».

— Они не собираются переплывать океан, они будут искать Стэнли, <sup>[3]</sup> — вмешался Биггсов мальчишка.

К этому времени вокруг нас собралась целая толпа, и люди спрашивали друг друга, что случилось. Некоторые (юная и легкомысленная часть присутствующих) придерживались мнения, что это свадьба, и указывали на Гарриса как на жениха. Более пожилые и серьезные люди склонялись к мысли, что происходят похороны и что я, по всей вероятности, брат покойника.

Наконец показался пустой кеб (на нашей улице пустые кебы, когда они не нужны, попадают, как правило, по три в минуту). Мы кое-как втиснули в него наши вещи и самих себя, сбросив со ступенек нескольких друзей Монморенси, которые, видимо, дали клятву никогда не расставаться

с ним, и поехали, сопровождаемые приветственными кликами толпы и морковкой, которую Биггсов мальчишка пустил нам вслед «на счастье».

В одиннадцать часов мы приехали на вокзал Ватерлоо и спросили, откуда отправляется поезд 11.05. Никто, разумеется, этого не знал. На вокзале Ватерлоо никто никогда не знает, откуда отходит какой-нибудь поезд, куда он идет, если уже отошел, и тому подобное. Носильщик, несший наши вещи, высказал предположение, что он отойдет с платформы № 2. Но другой носильщик, с которым он обсуждал этот вопрос, имел сведения, будто наш поезд тронется с платформы № 1. Дежурный по вокзалу, со своей стороны, был уверен, что поезд 11.05 отправляется с пригородной платформы.

Чтобы покончить с этим вопросом, мы поднялись наверх и спросили начальника движения. Он сказал, что только что встретил человека, который говорил, будто видел наш поезд на третьей платформе. Мы пошли на третью платформу, но местные власти сообщили нам, что, по их мнению, это был скорее саутгемптонский экспресс или же кольцевой виндзорский. Там были твердо убеждены, что это не поезд на Кингстон, хотя и не могли сказать, почему именно они в этом уверены.

Тогда носильщик сказал, что наш поезд, вероятно, на верхней платформе и что он узнает этот поезд. Мы отправились на верхнюю платформу, пошли к машинисту и спросили его, не едет ли он в Кингстон. Машинист ответил, что он, конечно, не может утверждать наверняка, но думает, что едет, во всяком случае, если он не 11.05 на Кингстон, то он уже наверное 9.32 на Виргиния-Уотер, или десятичасовой экспресс на остров Уайт, или куда-нибудь в этом направлении, и что мы все узнаем, когда приедем на место. Мы сунули ему в руку полкроны и попросили его сделаться 11.05 на Кингстон.

— Ни одна душа на этой линии никогда не узнает, кто вы и куда вы направляетесь, — сказали мы. — Вы знаете дорогу, так трогайтесь потихоньку и езжайте в Кингстон.

— Ну что ж, джентльмены, — ответил этот благородный человек. — Должен же какой-нибудь поезд идти в Кингстон. Я согласен. Давайте сюда полкроны.

Так мы попали в Кингстон по Лондонской Юго-Западной железной дороге.

Впоследствии мы узнали, что поезд, который нас привез, был на самом деле экзетерский почтовый и что на вокзале Ватерлоо несколько часов искали его, и никто не знал, что с ним случилось.

Наша лодка ожидала нас в Кингстоне, чуть ниже моста. Мы направили

к ней свои стопы, погрузили в нее свои вещи, заняли в ней каждый свое место.

— Все в порядке, сэр? — спросил лодочник.

— Все в порядке! — ответили мы и — Гаррис на веслах, я на руле и Монморенси, глубоко несчастный и полный самых мрачных подозрений, на носу — поплыли по реке, которая на ближайшие две недели должна была стать нашим домом.

## Глава шестая

Кингстон. — Полезные сведения из ранней истории Англии. — Поучительные рассуждения о резном дубе и о жизни вообще. — Печальная судьба Стиввингса-младшего. — Размышления о древности. — Я забываю, что правлю рулем. — Интересные последствия этого. — Хэмптон-Кортский лабиринт. — Гаррис в роли проводника.

Стояло великолепное утро в конце весны или в начале лета — как вам больше нравится, когда нежная зелень травы и листьев приобретает более темный оттенок и природа, словно юная красавица, готовая превратиться в женщину, охвачена непонятным, тревожным трепетом.

Старинные переулки Кингстона, спускающиеся к реке, выглядели очень живописно в ярких лучах солнца; сверкающая река, усеянная скользящими лодками, окаймленная лесом дорога, изящные виллы на другом берегу, Гаррис в своей красной с оранжевым фуфайке, с кряхтением взмахивающий веслами, старый серый замок Тюдоров, мелькающий вдалеке, представляли яркую картину, веселую и спокойную, полную жизни, но в то же время столь мирную, что, хотя было еще рано, меня охватила мечтательная дремота и я впал в задумчивость.

Я думал о Кингстоне, или «Кинингестоуне», как его называли некогда, в те дни, когда саксонские «кинги» — короли — короновались в этом городе. Великий Цезарь перешел здесь реку, и римские легионы стояли лагерем на склонах ближних холмов. Цезарь, как впоследствии Елизавета, останавливался, по-видимому, всюду, но только он был человек более строгих правил, чем добрая королева Бесс, — он не ночевал в трактирах.

Она обожала трактиры, эта королева-девственница! Едва ли найдется хоть один сколько-нибудь замечательный кабачок на десять миль вокруг Лондона, где бы она когда-нибудь не побывала или не провела ночь.

Я часто спрашиваю себя: если, допустим, Гаррис начнет новую жизнь, станет достойным и знаменитым человеком, попадет в премьер-министры и умрет, прибьют ли на трактирах, которые он почтил своим посещением, доски с надписью: «В этом доме Гаррис выпил стакан пива»; «Здесь Гаррис выпил две рюмки холодного шотландского летом 1888 года»; «Отсюда Гарриса вытолкали в декабре 1886 года»?

Нет, таких досок было бы слишком много. Прославились бы скорее те трактиры, в которые Гаррис ни разу не заходил. «Единственный кабачок в южной части Лондона, где Гаррис не выпил ни одной рюмки». Публика



валом валила бы в это заведение, чтобы посмотреть, что в нем такого особенного.

Как бедный, слабоумный король Эдви должен был ненавидеть Кинингестоун! Пиршество после коронации оказалось ему не по силам. Может быть, кабанья голова, начиненная леденцами, не очень ему нравилась (мне бы она наверняка пришлась не по вкусу), и он выпил достаточно браги и меду, — как бы то ни было, он покинул шумный пир, чтобы украдкой погулять часок при свете луны со своей возлюбленной Эльдживой.

Быть может, стоя рука об руку, они любовались из окна игрой лунного света на реке, внимая шуму пиршества, смутно доносившемуся из отдаленных покоев. Затем буйный Одо и Сент-Дустен грубо врываются в тихую комнату, осыпая ругательствами ясноликую королеву, и уводят бедного Эдви к разгулявшимся пьяным крикунам.

Через много лет под грохот боевой музыки саксонские короли и саксонские пирушки были погребены в одной могиле. И слава Кингстона померкла на время, чтобы снова засиять в те дни, когда Хэмптон-Корт сделался резиденцией Тюдоров и Стюартов, и королевские лодки покачивались у причалов, и юные щеголи в разноцветных плащах сходили по ступеням к воде и громко звали перевозчиков.

Многие старые дома в городе напоминают о том времени, когда Кингстон был местопребыванием двора и вельможи и сановники жили там, вблизи своего короля. На длинной дороге, ведущей к дворцовым воротам, целый день весело бряцала сталь, ржали гордые кони, шелестели шелк и атлас и мелькали прекрасные лица. Большие, просторные дома с их решетчатыми окнами, громадными каминами и стрельчатыми крышами напоминают времена длинных чулок и камзолов, шитых жемчугом жилетов и замысловатых кляत्व. Люди, которые возвели эти дома, умели строить. Твердый красный кирпич от времени стал лишь крепче, а дубовые лестницы не скрипят и не стонут, когда вы пытаетесь спуститься по ним бесшумно.

Кстати о дубовых лестницах. В одном доме в Кингстоне есть замечательная лестница из резного дуба. Теперь в этом доме на рыночной площади помещается лавка, но некогда в нем, очевидно, жил какой-нибудь вельможа. Мой приятель, живущий в Кингстоне, однажды зашел туда, чтобы купить себе шляпу, и в минуту рассеянности опустил руку в карман и тут же на месте заплатил наличными.

Лавочник (он знаком с моим приятелем), естественно, был сначала несколько потрясен, но быстро взял себя в руки и, чувствуя, что

необходимо что-нибудь сделать, чтобы поддержать такие стремления, спросил нашего героя, не желает ли он полюбоваться на красивый резной дуб. Мой приятель согласился, и лавочник провел его через магазин и поднялся с ним по лестнице. Перила ее представляют замечательный образец столярного мастерства, а стены вдоль всей лестницы покрыты дубовыми панелями с резьбой, которая сделала бы честь любому дворцу.

С лестницы они вошли в гостиную — большую, светлую комнату, оклеенную несколько неожиданными, но веселенькими обоями голубого цвета. В комнате не было, однако, ничего особенно замечательного, и мой приятель не понимал, зачем его туда привели. Хозяин дома подошел к обоям и постучал об стену. Звук получился деревянный.

— Дуб, — объяснил лавочник. — Сплошь резной дуб, до самого потолка. Такой же, как вы видели на лестнице.

— Черт возьми! — возмутился мой приятель. — Неужели вы хотите сказать, что заклеили резной дуб голубыми обоями?

— Конечно, — последовал ответ. — И это обошлось мне недешево. Ведь сначала пришлось обшить стены досками. Но зато комната имеет веселый вид. Раньше здесь было ужасно мрачно.

Не могу сказать, чтобы я считал лавочника кругом виноватым (это, несомненно, доставляет ему большое облегчение). С его точки зрения — с точки зрения среднего домовладельца, стремящегося относиться к жизни как можно легче, а не какого-нибудь помешанного на старине чудака — поступок его имеет известный смысл. На резной дуб очень приятно смотреть, приятно даже иметь его у себя дома в небольшом количестве. Но нельзя отрицать, что пребывание среди сплошного резного дуба действует несколько угнетающе на людей, которые к этому не расположены. Это все равно что жить в церкви.

Печально во всей этой истории лишь то, что у лавочника, которого это ничуть не радовало, была целая гостиная, обшитая резным дубом, в то время как другие платят огромные деньги, чтобы его раздобыть. Повидимому, в жизни всегда так бывает. У одного человека есть то, что ему не нужно, а другие обладают тем, что он хотел бы иметь.

Женатые имеют жен и, видимо, не дорожат ими, а молодые холостяки кричат, что не могут найти жену. У бедняков, которые и себя-то едва могут прокормить, бывает по восемь штук веселых ребят, а богатые пожилые супруги умирают бездетными и не знают, кому оставить свои деньги.

Или вот, например, барышни и поклонники. Барышни, у которых они есть, уверяют, что не нуждаются в них. Они говорят, что предпочли бы обходиться без них, что молодые люди им надоели. Почему бы им не

поухаживать за мисс Смит или мисс Браун, которые стары и дурны и не имеют поклонников? Им самим поклонники не нужны. Они не собираются выходить замуж.

Грустно становится, когда думаешь о подобных вещах!

У нас в школе был один мальчик, которого мы называли Сэндфорд и Мертон.<sup>[4]</sup> Настоящая его фамилия была Стиввингс. Я никогда не встречал более удивительного мальчика. Он действительно любил учиться. С ним происходили ужасные неприятности из-за того, что он читал в постели по-гречески, а что касается французских неправильных глаголов, то его просто невозможно было оторвать от них. У него была целая куча странных и противоестественных предрассудков, вроде того, что он должен делать честь своим родителям и служить украшением школы; он жаждал получать награды, скорее вырасти и стать умным, и вообще он был начинен разными дурацкими идеями. Да, это был диковинный мальчик, притом безобидный, как неродившийся младенец.

Ну, так вот этот мальчик раза два в неделю заболел и не мог ходить в школу. Ни один школьник не умел так хворать, как этот самый Сэндфорд и Мертон. Если за десять миль от него появлялась какая-нибудь болезнь, он схватывал ее, и притом в тяжелой форме. Он болел бронхитом в самый разгар лета и сенной лихорадкой на Рождество. После шестинедельной засухи он вдруг сваливался, пораженный ревматизмом, а выйдя из дому в ноябрьский туман, падал от солнечного удара.

В каком-то году беднягу усыпили веселящим газом, вырвали у него все зубы и поставили ему две фальшивые челюсти, до того он мучился зубной болью. Потом она сменилась невралгией и колющим в ухе. Он всегда страдал насморком, кроме тех девяти недель, когда болел скарлатиной, и вечно что-нибудь отмораживал. В большую эпидемию холеры в 1871 году в нашей округе почему-то совсем не было заболеваний. Известен был только один больной во всем приходе — это был молодой Стиввингс.

Когда он болел, ему приходилось оставаться в кровати и есть цыплят, яблоки и виноград, а он лежал и плакал, что у него отнимают немецкую грамматику и не позволяют делать латинские упражнения.

А мы, мальчишки, охотно бы пожертвовали десять лет школьной жизни за то, чтобы проболеть один день, и не давали нашим родителям ни малейшего повода гордиться нами — и все-таки не болели. Мы бегали и шалили на сквозняке, но это приносило нам лишь пользу и освежало нас. Мы ели разные вещи, чтобы захворать, но только жирели и приобретали аппетит. Что бы мы ни придумали, заболеть не удавалось, пока не наступали каникулы. Зато в последний день учения мы схватывали

простуду, коклюш и всевозможные другие недуги, которые длились до начала следующей четверти. А тогда, какие бы ухищрения мы ни пускали в ход, здоровье вдруг возвращалось, и мы чувствовали себя лучше, чем когда-либо.

Такова жизнь, и мы все — только трава, которую срезают, кладут в печь и жгут.

Возвращаясь к вопросу о резном дубе, надо сказать, что наши предки обладали довольно-таки развитым чувством изящного и прекрасного. Ведь все теперешние сокровища искусства три-четыре века тому назад были банальными предметами повседневного обихода. Я часто спрашиваю себя, действительно ли красивы старинные суповые тарелки, пивные кружки и щипцы для снятия нагара со свечей, которые мы так высоко ценим, или только ореол древности придает им прелесть в наших глазах. Старинные синие тарелки, украшающие теперь стены наших комнат, несколько столетий тому назад были самой обычной домашней утварью, а розовые пастушки и желтенькие пастушки, которыми с понимающим видом восторгаются все наши знакомые, в восемнадцатом веке скромно стояли на камине, никем не замечаемые, и матери давали их пососать своим плачущим младенцам.

А чего ждать в будущем? Всегда ли дешевые безделушки прошлого будут казаться сокровищами? Будут ли наши расписные обеденные тарелки украшать камин вельмож двадцать первого столетия?

А белые чашки с золотым ободком снаружи и великолепным золотым цветком неизвестного названия внутри, которые без всякого огорчения бьют теперь наши горничные? Не будут ли их бережно склеивать и устанавливать на подставки, с тем чтобы лишь хозяйка дома имела право стирать с них пыль?

Вот, например, фарфоровая собачка, которая украшает спальню в моей меблированной квартире. Эта собачка белая. Глаза у нее голубые, нос нежно-розовый с черными крапинками. Она держит голову мучительно прямо и всем своим видом выражает приветливость, граничащую со слабоумием. Я лично далеко не в восторге от этой собачки. Как произведение искусства она меня, можно сказать, раздражает. Мои легкомысленные приятели глумятся над ней, и даже квартирная хозяйка не слишком ею восхищается, оправдывая ее присутствие тем, что это подарок тетки.

Но более чем вероятно, что через двести лет эту собачку — без ног и с обломанным хвостом — откуда-нибудь выкопают, продадут за старый фарфор и поставят под стекло. И люди будут ходить вокруг и восторгаться

ею, удивляясь теплой окраске носа, и гадать, каков был утраченный кончик ее хвоста.

Мы в наше время не сознаем прелести этой собачки. Мы слишком привыкли к ней. Она подобна закату солнца и звездам: красота их не поражает нас, потому что наши глаза уже давно к ней пригляделись.

Так и с этой фарфоровой собачкой. В 2288 году люди будут приходить от нее в восторг. Производство таких собачек станет к тому времени забытым искусством. Наши потомки будут ломать себе голову над тем, как мы ее сделали. Нас будут с нежностью называть «великими мастерами, которые жили в девятнадцатом веке и делали таких фарфоровых собачек».

Узор, который наша старшая дочь вышила в школе, получит название «гобелена эпохи Виктории» и будет цениться очень дорого. Синие с белым кружки из придорожных трактиров, щербатые и потрескавшиеся, будут усердно разыскивать и продавать на вес золота, богатые люди будут пить из них крюшон. Японские туристы бросятся скупать все сохранившиеся от разрушения «подарки из Рамсгета» и «сувениры из Маргета» и увезут их в Токио как старинные английские редкости.

В этом месте Гаррис вдруг бросил весла, приподнялся, покинул свое сиденье и упал на спину, задрав ноги вверх. Монморенси взвыл и перекувыркнулся через голову, а верхняя корзина подскочила, вытряхивая все свое содержимое.

Я несколько удивился, но не потерял хладнокровия. Достаточно добродушно я сказал:

— Алло! Это почему?

— Почему?! Ну!..

Нет, я лучше не стану повторять то, что сказал Гаррис. Согласен, я, может быть, был несколько виноват, но ничто не оправдывает резких слов и грубости выражений, в особенности если человек получил столь тщательное воспитание, как Гаррис. Я думал о другом и забыл, как легко может понять всякий, что правлю рулем. Последствием этого явилось то, что мы пришли в слишком близкое соприкосновение с берегом. В первую минуту было трудно сказать, где кончаемся мы и начинается графство Миддл-Эссекс, но через некоторое время мы в этом разобрались и отделились друг от друга.

Тут Гаррис заявил, что он достаточно поработал, и предложил мне сменить его. Поскольку мы были у берега, я вышел, взялся за бечеву и потащил лодку мимо Хэмптон-Корта.

Что за чудесная старая стена тянется в этом месте вдоль реки! Проходя мимо нее, я всякий раз испытываю удовольствие от одного ее вида. Яркая,

милая, веселая старая стена! Как чудесно украшают ее ползучий лишайник и буйно растущий мох, стыдливая молодая лоза, выглядывающая сверху, чтобы посмотреть, что происходит на реке, и темный старый плющ, вьющийся немного ниже. Любые десять ярдов этой стены являют глазу пятьдесят нюансов и оттенков. Если бы я умел рисовать и писать красками, я бы, наверное, создал прекрасный набросок этой старой стены. Я часто думаю, что с удовольствием жил бы в Хэмптон-Корте. Здесь, видимо, так тихо, так спокойно, в этом милом старом городе, и так приятно бродить по его улицам рано утром, когда вокруг еще мало народу.

Но все же, мне кажется, я бы не очень хорошо себя чувствовал, если бы это действительно случилось. В Хэмптон-Корте, должно быть, так мрачно и уныло по вечерам, когда лампа бросает неверные тени на деревянные панели стен, когда шум отдаленных шагов гулко раздается в каменных коридорах, то приближаясь, то замирая вдали, и лишь биение нашего сердца нарушает мертвую тишину.

Мы, мужчины и женщины, — создания солнца. Мы любим свет и жизнь. Вот почему мы толпимся в городах и поселках, а деревни с каждым годом все больше пустеют. При свете солнца, днем, когда природа живет и все вокруг нас полно деятельности, нам нравятся открытые склоны гор и густые леса. Но ночью, когда мать-земля уснула, а мы бодрствуем, — о, мир кажется таким пустынным, и нам страшно, как детям в безлюдном доме. И мы сидим и плачем, тоскуя по улицам, залитым светом газа, по звукам человеческих голосов и бурному биению жизни. Мы кажемся себе такими беспомощными, такими маленькими в великом безмолвии, когда темные деревья шелестят от ночного ветра; вокруг так много призраков, и их тихие вздохи нагоняют на нас грусть. Соберемся же в больших городах, зажжем огромные костры из миллионов газовых рожков, будем кричать и петь все вместе и чувствовать себя смелыми.

Гаррис спросил, бывал ли я когда-нибудь в Хэмптон-Кортском лабиринте. Сам он, по его словам, заходил туда один раз, чтобы показать кому-то, как лучше пройти. Он изучал лабиринт по плану, который казался до глупости простым, так что жалко было даже платить два пенса за вход. Гаррис полагал, что этот план был издан в насмешку, так как он ничуть не был похож на подлинный лабиринт и только сбивал с толку. Гаррис повел туда одного своего родственника из провинции. Он сказал:

— Мы только зайдем ненадолго, чтобы ты мог сказать, что побывал в лабиринте, но это совсем не сложно. Даже нелепо называть его лабиринтом. Надо все время сворачивать направо. Походим минут десять, а потом отправимся завтракать.

Попав внутрь лабиринта, они вскоре встретили людей, которые сказали, что находятся здесь три четверти часа и что с них, кажется, хватит. Гаррис предложил им, если угодно, последовать за ним. Он только вошел, сейчас повернет направо и выйдет. Все были ему очень признательны и пошли за ним следом. По дороге они подобрали еще многих, которые мечтали выбраться на волю, и, наконец, поглотили всех, кто был в лабиринте. Люди, отказавшиеся от всякой надежды снова увидеть родной дом и друзей, при виде Гарриса и его компании воспряли духом и присоединились к процессии, осыпая его благословениями. Гаррис сказал, что, по его предположению, за ним следовало, в общем, человек двадцать; одна женщина с ребенком, которая пробыла в лабиринте все утро, непременно пожелала взять Гарриса под руку, чтобы не потерять его.

Гаррис все время поворачивал направо, но идти было, видимо, далеко, и родственник Гарриса сказал, что это, вероятно, очень большой лабиринт.

— Один из самых обширных в Европе, — сказал Гаррис.

— Похоже, что так, — ответил его родственник. — Мы ведь уже прошли добрых две мили.

Гаррису и самому это начало казаться странным. Но он держался стойко, пока компания не прошла мимо валявшейся на земле половины пышки, которую Гаррисов родственник, по его словам, видел на этом самом месте семь минут тому назад.

— Это невозможно, — возразил Гаррис, но женщина с ребенком сказала: «Ничего подобного», — так как она сама отняла эту пышку у своего мальчика и бросила ее перед встречей с Гаррисом. Она прибавила, что лучше бы ей никогда с ним не встречаться и выразила мнение, что он обманщик. Это взбесило Гарриса. Он вытащил план и изложил свою теорию.

— План-то, может, и неплохой, — сказал кто-то, — но только нужно знать, в каком месте мы сейчас находимся.

Гаррис не знал этого и сказал, что самое лучшее будет вернуться к выходу и начать все снова. Предложение начать все снова не вызвало особого энтузиазма, но в части возвращения назад единодушие было полное. Все повернули обратно и потянулись за Гаррисом в противоположном направлении. Прошло еще минут десять, и компания очутилась в центре лабиринта. Гаррис хотел сначала сделать вид, будто он именно к этому и стремился, но его свита имела довольно угрожающий вид, и он решил расценить это как случайность. Теперь они хотя бы знают, с чего начать. Им известно, где они находятся. План был еще раз извлечен на свет Божий, и дело показалось проще простого, — все в третий раз

тронулись в путь.

Через три минуты они опять были в центре.

После этого они просто-таки не могли оттуда уйти. В какую бы сторону они ни сворачивали, все пути приводили их в центр. Это стало повторяться с такой правильностью, что некоторые просто оставались на месте и ждали, пока остальные прогуляются и вернутся к ним. Гаррис опять извлек свой план, но вид этой бумаги привел толпу в ярость. Гаррису посоветовали пустить план на папильотки. Гаррис, по его словам, не мог не сознавать, что до некоторой степени утратил популярность.

Наконец все совершенно потеряли голову и во весь голос стали звать сторожа. Сторож пришел, взобрался на стремянку снаружи лабиринта и начал громко давать им указания. Но к этому времени у всех в головах была такая путаница, что никто не мог ничего сообразить. Тогда сторож предложил им постоять на месте и сказал, что придет к ним. Все собрались в кучу и ждали, а сторож спустился с лестницы и пошел внутрь. На горе, это был молодой сторож, новичок в своем деле. Войдя в лабиринт, он не нашел заблудившихся, начал бродить взад и вперед и наконец сам заблудился. Время от времени они видели сквозь листву, как он метался где-то по ту сторону изгороди, и он тоже видел людей и бросался к ним, и они стояли и ждали его минут пять, а потом он опять появлялся на том же самом месте и спрашивал, куда они пропали.

Всем пришлось дожидаться, пока не вернулся один из старых сторожей, который ходил обедать. Только тогда они, наконец, вышли.

Гаррис сказал, что, насколько он может судить, это замечательный лабиринт, и мы сговорились, что на обратном пути попробуем завести туда Джорджа.



## Глава седьмая

Река в праздничном наряде. — Как одеваться для путешествия по реке. — Удобный случай для мужчин. — Отсутствие вкуса у Гарриса. — Фуфайка Джорджа. — День с барышней из модного журнала. — Могила миссис Томас. — Человек, который не любит могил, гробов и черепов. — Гаррис приходит в бешенство. — Его мнение о Джордже, банках и лимонаде. — Он показывает акробатические номера.

Когда Гаррис рассказывал мне о своих переживаниях в лабиринте, мы проходили Маулсейский шлюз. Это заняло много времени, так как наша лодка была единственная, а шлюз велик. Насколько мне помнится, я еще ни разу не видел, чтобы в Маулсейском шлюзе была всего одна лодка. Мне кажется, это самый оживленный из всех шлюзов на реке, не исключая даже Баултерского. Мне иногда приходилось наблюдать его в такие минуты, когда воды совсем не было видно под множеством ярких фуфаек, пестрых шапочек, нарядных шляп, зонтиков всех цветов радуги, шелковых накидок, плащей, развевающихся лент и изящных белых платьев. Если смотреть с набережной, этот шлюз можно было принять за огромный ящик, куда набросали цветов всех оттенков, которые заполнили его до самых краев.

В погожее воскресенье река имеет такой вид почти весь день. За воротами, и вверх и вниз по течению, стоят, ожидая своей очереди, длинные вереницы лодок; лодки приближаются и удаляются, так что вся сверкающая река от дворца вплоть до Хэмптонской церкви усеяна желтыми, синими, оранжевыми, белыми, красными, розовыми точками. Все обитатели Хэмптона и Маулси, разодевшись по-летнему, гуляют вокруг шлюза со своими собаками, любезничают, курят и смотрят на лодки. Все это вместе — куртки и тапочки мужчин, красивые цветные платья женщин, снующие собаки, движущиеся лодки, белые паруса, приятный ландшафт и сверкающие воды — представляет одно из самых красивых зрелищ, какие можно видеть близ нашего унылого старого Лондона.

Река дает возможность одеться как следует. Хоть здесь мы, мужчины, можем показать, каков наш вкус в отношении красок, и, если вы меня спросите, я скажу, что получается совсем не так плохо. Я очень люблю носить что-нибудь красное — красное с черным. Волосы у меня, знаете, такие золотисто-каштановые — довольно красивый оттенок, как мне говорили, — и темно-красное замечательно к ним идет. И еще, по-моему, сюда очень подходит голубой галстук, юфтяные башмаки и красный шелковый шарф вокруг пояса, — шарф выглядит ведь гораздо лучше, чем

ремень.

Гаррис всегда предпочитает различные оттенки и комбинации оранжевого и желтого, но я с ним не согласен. Для желтого у него слишком темный цвет лица. Желтое ему не идет, в этом нет сомнения. Лучше бы он избрал для фона голубой цвет и к нему что-нибудь белое или кремовое. Но поди ж ты! Чем меньше у человека вкуса в вопросах туалета, тем больше он упрямится. Это очень жаль, потому что он никогда не достигнет успеха. В то же время существуют цвета, в которых он выглядел бы не так уж плохо, если бы надел шляпу.

Джордж купил себе для этой прогулки несколько новых принадлежностей туалета, и они меня огорчают. Его фуфайка «кричит». Мне не хотелось бы, чтобы Джордж знал, что я так думаю, но, право, для нее нет более подходящего слова. Он принес и показал нам эту фуфайку в четверг вечером. Мы спросили его, какого она, по его мнению, цвета, и он ответил, что не знает. Для такого цвета, по его словам, нет названия. Продавец сказал ему, что это восточная расцветка.

Джордж надел свою фуфайку и спросил, как мы ее находим. Гаррис заметил, что она вполне годится для того, чтобы вешать ее ранней весной над цветочными грядками — отпугивать птиц, но от одной мысли, что это предмет одежды, предназначенный для какого бы то ни было человеческого существа, кроме разве бродячего певца-негра, ему делается плохо. Джордж надулся, но Гаррис совершенно правильно сказал, что, если Джордж не хотел выслушать его мнение, незачем было и спрашивать.

Нас же с Гаррисом беспокоит лишь одно — мы боимся, что эта фуфайка привлечет к нашей лодке всеобщее внимание.

Девушки тоже производят в лодке весьма недурное впечатление, если они хорошо одеты. На мой взгляд, нет ничего более привлекательного, чем хороший лодочный костюм. Но «лодочный костюм» — хорошо бы все дамы это понимали! — есть нечто такое, что следует носить, находясь в лодке, а не под стеклянным колпаком. Если с вами едет публика, которая все время думает не о прогулке, а о своих платьях, вся экскурсия будет испорчена. Однажды я имел несчастье отправиться на речной пикник с двумя дамами такого сорта. Ну и весело же нам было!

Обе были разряжены в пух и прах — шелка, кружева, ленты, цветы, изящные туфли, светлые перчатки. Они оделись для фотографии, а не для речного пикника. На них были «лодочные костюмы» с французской модной картинки. Сидеть в них поблизости от настоящей земли, воды и воздуха было просто нелепо.

Прежде всего эти дамы решили, что в лодке грязно. Мы смахнули

пыль со всех скамей и стали убеждать наших спутниц, что теперь чисто, но они не верили. Одна из них потерла подушку пальцем и показала его другой, обе вздохнули и уселись с видом мучениц первых лет христианства, старающихся устроиться поудобнее на кресте.

Когда гребешь, случается иногда плеснуть веслом, а капля воды, оказывается, может совершенно сгубить дамский туалет. Пятно ничем нельзя вывести, и на платье навсегда остается след.

Я был кормовым. Я старался как мог. Я поднимал весла вверх на два фута, после каждого удара делал паузу, чтобы с лопастей стекла вода, и выискивал, опуская их снова, самое гладкое место. (Носовой вскоре сказал, что не чувствует себя достаточно искусным, чтобы грести со мной, и предпочитает, если я не против, сидеть и изучать мой стиль гребли. Она очень интересуется его.) Но, несмотря на все мои старания, брызги иногда залетали на платья девушек. Девушки не жаловались, а только крепче прижимали друг к другу и сидели, плотно сжав губы. Всякий раз, как их касалась капля воды, они поджимались и вздрагивали. Зрелище их молчаливых страданий возвышало душу, но оно совершенно расстроило мне нервы. Я слишком чувствителен. Я начал грести яростно и беспокойно, и чем больше я старался не брызгать, тем сильнее брызгал.

Наконец я сдался и сказал, что пересяду на нос. Носовой тоже нашел, что так будет лучше, и мы поменялись местами. Дамы, видя, что я ухожу, испустили невольный вздох облегчения и на минуту просияли. Бедные девушки! Им бы следовало лучше примириться со мной.

Юноша, который достался им теперь, был веселый, легкомысленный, толстокожий и не более чувствительный, чем щенок ньюфаундленд. Вы могли метать в него молнии целый час подряд, и он бы этого не заметил, а если бы и заметил, то не смутился.

Он шумно, наотмашь, ударил веслами, так что брызги фонтаном разлетелись по всей лодке, и вся наша компания тотчас же застыла, выпрямившись на скамьях. Вылив на платья барышень около пинты воды, он с приятной улыбкой говорил: «Ах, простите, пожалуйста», — и предлагал им свой носовой платок.

— О, это неважно, — шептали в ответ несчастные девицы и украдкой закрывались пледом и пальто или пытались защищаться от брызг своими кружевными зонтиками.

За завтраком им пришлось очень плохо. Их заставляли садиться на траву, а трава была пыльная; стволы деревьев, к которым им предлагали прислониться, видимо, не были чищены уже целую неделю. Девушки разостлали на земле носовые платки и сели на них, держась очень прямо.

Кто-то споткнулся о корень, неся в руках блюдо с мясным пирогом, и пирог полетел на землю. К счастью, он не попал на девушек, но этот прискорбный случай открыл им глаза на новую опасность и взволновал их. После этого, когда кто-нибудь из нас нес что-нибудь, что могло упасть и запачкать платье, барышни со все возрастающим беспокойством провожали его глазами, пока он снова не садился на место.

— А ну-ка, девушки, — весело сказал наш друг носовой, когда с завтраком было покончено, — теперь вымойте посуду.

Сначала они его не поняли. Потом, усвоив его мысль, они сказали, что не умеют мыть посуду.

— Это очень забавно! Сейчас я вас научу! — закричал юноша. — Лягте на... я хочу сказать, свесьтесь с берега и полощите посуду в воде.

Старшая сестра сказала, что не уверена, подходят ли их платья для подобной работы.

— Ничего с ними не сделается, — беспечно объяснил носовой. — Подоткните их.

И он заставил-таки девушек вымыть посуду! Он сказал, что в этом главная прелесть пикника. Девушки нашли, что это очень интересно.

Теперь я иногда спрашиваю себя, был ли этот юноша так туп, как мы думали? Или, может быть, он... Нет, невозможно! У него был такой простой, детски-наивный вид!

Гаррису захотелось выйти в Хэмптон-Корте и посмотреть могилу миссис Томас.

— Кто такая миссис Томас? — спросил я.

— Почем я знаю, — ответил Гаррис. — Это дама, у которой интересная могила, и я хочу ее посмотреть.

Я возражал против этого. Не знаю, может быть, я не так устроен, как другие, но меня как-то никогда не влекло к надгробным плитам. Я знаю, что первое, что подобает сделать, когда вы приезжаете в какой-нибудь город или деревню, — это бежать на кладбище и наслаждаться видом могил, но я всегда отказываю себе в этом развлечении. Мне неинтересно бродить по темным, холодным церквам вслед за каким-нибудь астматическим старцем и читать надгробные надписи. Даже вид куска потрескавшейся бронзы, вделанной в камень, не доставляет мне того, что я называю истинным счастьем.

Я шокирую почтенных причетников невозмутимостью, с какой смотрю на трогательные надписи, и полным отсутствием интереса к генеалогии обитателей данной местности. А мое плохо скрываемое стремление поскорее выбраться из церкви кажется им оскорбительным.

Однажды, золотистым солнечным утром я прислонился к невысокой стене, ограждающей маленькую сельскую церковь, и курил, с глубокой, тихой радостью наслаждаясь безмятежной картиной: серая старинная церковь с деревянным резным крыльцом, увитая гирляндами плюща, белая дорога, извивающаяся по склону горы между рядами высоких вязов, домики с соломенными крышами, выглядывающие из-за аккуратно подстриженных изгородей, серебристая река в ложбине, покрытые лесом горы вдали...

Чудесный пейзаж! В нем было что-то идиллическое, поэтичное, он вдохновлял меня... Я казался себе добрым и благородным. Я чувствовал, что не хочу больше быть грешным и безнравственным. Мне хотелось поселиться здесь, никогда больше не поступать дурно и вести безупречную, прекрасную жизнь; мне хотелось, чтобы седина посеребрила мне волосы, когда я состарюсь, и т. д. и т. д.

В эту минуту я прощал всем моим друзьям и знакомым их греховность и дурной нрав и благословлял их. Они не знали, что я их благословляю. Они шли своим дурным путем, не имея понятия о том, что я делал для них в этой далекой мирной деревне. Но я все же делал это, и мне хотелось, чтобы они это знали, так как я желал сделать их счастливыми.

Такие возвышенные, добрые мысли мелькали у меня в голове, и вдруг моя задумчивость была прервана тоненькими, пронзительными возгласами:

— Все в порядке, сэр! Я иду, иду. Все в порядке, сэр! Не спешите.

Я поднял глаза и увидел лысого старика, который ковылял по кладбищу, направляясь ко мне; в руках у него была огромная связка ключей, которые тряслись и гремели при каждом его шаге.

С молчаливым достоинством я махнул ему рукой, чтобы он уходил. Но старик все приближался, неумолчно крича:

— Я иду, сэр, иду! Я немного хромаю. Теперь я уже не такой прыткий, как раньше. Сюда, сэр!

— Уходи, о несчастный старец, — сказал я.

— Я торопился изо всех сил, сэр! — продолжал старик. — Моя хозяйка вот только сию минуту заметила вас. Идите за мной, сэр!

— Уходите, — повторил я, — оставьте меня, пока я не перелез через стену и не убил вас.

Старик, видимо, удивился.

— Разве вы не хотите посмотреть могилы? — спросил он.

— Нет, — ответил я. — Не хочу. Я хочу стоять здесь, прислонившись к этой старой крепкой стене. Уходите, не мешайте мне. Я доверху полон прекрасными, благородными мыслями и хочу остаться таким, ибо чувствую

себя добрым и хорошим. Не болтайтесь же здесь и не бесите меня. Вы рассеете все мои добрые чувства вашими нелепыми могильными камнями. Уходите и найдите кого-нибудь, кто похоронит вас за дешевую цену, а я оплачу половину расходов.

На минуту старик растерялся. Он протер глаза и пристально посмотрел на меня. Снаружи я был достаточно похож на человека. Старик ничего не понимал.

— Вы приезжий? — спросил он. — Вы не живете здесь?

— Нет, не живу, — сказал я. — Если бы я жил здесь, вы бы здесь не жили.

— Ну, значит, вы хотите посмотреть могилы, — сказал старик. — Гробницы, знаете ли, закопанные люди, памятники.

— Вы обманщик, — ответил я, начиная раздражаться. — Я не хочу смотреть ваши могилы. Зачем это мне? У нас есть свои могилы — у нашей семьи. Могилой моего дяди Поджера на кладбище Кенсел-Грин гордится вся округа; гробница моего дяди в Бау может принять восемь постояльцев, а моя двоюродная бабушка Сюзен покоится в кирпичной гробнице на кладбище в Финчли; надгробный камень ее украшен барельефом в виде кофейника, а вдоль всей могилы тянется шестидюймовая ограда из лучшего белого камня, которая стоила немалых денег. Если мне требуются могилы, я хожу в те места и наслаждаюсь ими. Мне не нужно чужих могил. Когда вас самого похоронят, я приду и посмотрю на вашу могилу. Это все, что я могу для вас сделать.

Старик залился слезами. Он сказал, что на одной из могил лежит камень, про который говорят, будто это все, что осталось от изображения какого-то мужчины, а на другом камне вырезаны какие-то слова, которых никто еще не мог разобрать.

Я продолжал упорствовать, и старик сказал сокрушенным тоном;

— Может быть, вы посмотрите надгробное окно?

Я не согласился даже на это, и старик выпустил свой последний заряд. Он подошел ближе и хрипло прошептал:

— У меня есть там внизу, в склепе, пара черепов. Посмотрите на них. Идемте же, посмотрите черепа. Вы молодой человек, вы путешествуете и должны доставить себе удовольствие. Пойдемте, посмотрите черепа.

Тут я обратился в бегство и на бегу слышал, как старик кричал:

— Посмотрите черепа! Вернитесь же, посмотрите черепа!

Но Гаррис упивается видом могил, гробниц, эпитафий и надписей на памятниках, и от мысли, что он может не увидеть могилы миссис Томас, он совершенно свихнулся. Он заявил, что предвкушал возможность увидеть

эту могилу с того момента, как была задумана наша прогулка, и что не присоединился бы к нам, не будь у него надежды увидеть могилу миссис Томас.

Я напомнил Гаррису о Джордже и о том, что мы должны доставить лодку к пяти часам в Шеппертон и встретить его, и Гаррис принялся за Джорджа. Чего это Джордж целый день болтается и заставляет нас одних таскать эту громоздкую старую перегруженную лодку вверх и вниз по реке и встречать его! Почему Джордж не мог сам прийти и поработать? Почему он не взял себе свободный день и не поехал с нами? Провалился этот банк! Какая польза банку от Джорджа?

— Когда бы я туда ни пришел, — продолжал Гаррис, — я ни разу не видел, чтобы Джордж что-нибудь делал. Он весь день сидит за стеклом и притворяется, будто чем-то занят. Что пользы от человека, который сидит за стеклом? Я должен работать, чтобы жить. Почему же он не работает? Зачем он там нужен и какой вообще толк от всех этих банков? Они берут у вас деньги, а потом, когда вы выписываете чек, возвращают его, испещрив во всех направлениях надписями: «Исчерпан. Обратитесь к чекодателю». Какой во всем этом смысл? Этот фокус они проделали со мной на прошлой неделе дважды. Я не намерен долго терпеть подобные вещи. Я закрою свой счет. Будь Джордж здесь, мы могли бы посмотреть могилу. Я вообще не верю, что он в банке. Просто он где-нибудь шляется, а нам приходится работать. Я выйду и пойду чего-нибудь выпью.

Я указал Гаррису, что мы находимся на расстоянии многих миль от трактира, и Гаррис принялся ругать реку. Какая польза от этой реки, и неужели всякий, кто отдыхает на реке, должен умереть от жажды? Когда Гаррис в таком настроении, лучше всего ему не мешать. В конце концов он выдыхается и сидит потом спокойно.

Я напомнил ему, что в корзине есть концентрированный лимонад, а на носу стоит целый галлон воды. Надо только смешать одно с другим, и получится вкусный, освежающий напиток.

Тут Гаррис накинудся на лимонад и «всякую — по его выражению — бурду, годную лишь для школьников», вроде имбирного пива, малинового сиропа и т. д. Все они расстраивают желудок, губят тело и душу и являются причиной половины преступлений, совершаемых в Англии.

Но все же, заявил он, ему необходимо чего-нибудь выпить. Он влез на скамью и наклонился, чтобы достать бутылку. Она лежала на самом дне корзины, и ее, видимо, было нелегко найти. Гаррису приходилось наклоняться все больше и больше; пытаясь при этом управлять лодкой и видя все вверх дном, он потянул не за ту веревку и вогнал лодку в берег.

Толчок опрокинул его, и он нырнул прямо в корзину и стоял в ней головой вниз, судорожно вцепившись руками в борта лодки и задрал ноги кверху. Он не отважился шевельнуться, чтобы не полететь в воду, и ему пришлось стоять так, пока я не вытянул его за ноги, отчего он еще больше взбесился.



## Глава восьмая

Шантаж. — Какую политику следует при этом проводить. — Себялюбивая грубость земельного собственника. — «Объявления». — Нехристианские чувства Гарриса. — Как Гаррис поет комические куплеты. — Культурная вечеринка. — Постыдное поведение двух порочных молодых людей. — Бесплезные сведения. — Джордж покупает банджо.

Мы остановились у Хэмптон-парка, под ивами, и стали завтракать. Это приятная местность: вдоль берега здесь тянется веселый зеленый луг, осененный ивами. Мы только что взяли за третье блюдо — хлеб с вареньем, как появился какой-то джентльмен без пиджака и с короткой трубкой и осведомился, известно ли нам, что мы вторглись в чужие владения. Мы ответили, что не уделили еще этому вопросу достаточного внимания, чтобы иметь возможность прийти к определенному выводу, но если он поручится честным словом джентльмена, что мы действительно вторглись в чужие владения, мы готовы без дальнейших колебаний ему поверить.

Джентльмен с короткой трубкой дал нам требуемое заверение, и мы поблагодарили его. Но он продолжал ходить вокруг нас и, по-видимому, был недоволен, так что мы спросили, чем еще мы можем ему служить. Гаррис, человек по натуре компанейский, даже предложил ему кусок хлеба с вареньем. Но этот джентльмен, вероятно, принадлежал к какому-нибудь обществу, члены которого поклялись воздерживаться от хлеба с вареньем; во всяком случае он довольно-таки грубо отклонил предложение Гарриса, словно обиженный тем, что его пытаются соблазнить, и прибавил, что его обязанность — выставить нас отсюда.

Гаррис сказал, что, если такова его обязанность, она должна быть выполнена, и спросил, какие средства, по его мнению, являются для этого наилучшими. А Гаррис, надо сказать, хорошо сложен и роста вполне приличного и производит впечатление человека жилистого и крепкого. Джентльмен смерил его взглядом сверху донизу и сказал, что пойдет посоветоваться со своим хозяином, а потом вернется и сбросит нас обоих в реку.

Разумеется, мы его больше не видели, и, разумеется, все, что ему было нужно, — это один шиллинг. На побережье попадаются подобные хулиганы, которые сколачивают за лето порядочное состояние, болтаясь по берегу и шантажируя таким образом слабохарактерных дурачков. Они

выдают себя за уполномоченных землевладельца. Лучшая политика в этом случае — сказать свое имя и адрес и предоставить хозяину, если он действительно имеет отношение к этому делу, вызвать вас в суд и доказать, что вы нанесли вред его земле, посидев на ней. Но большинство людей до того лениво и робко, что им приятнее поощрять это насилие, уступая ему, чем прекратить его, проявив некоторую твердость характера.

В тех случаях, когда действительно виноваты хозяева, их следует разоблачать. Эгоизм прибрежных землевладельцев усиливается с каждым годом. Дай им волю, они бы совсем заперли реку Темзу. Они уже фактически делают это в притоках и каналах. Они вбивают в дно реки столбы, протягивают от берега до берега цепи и приколачивают к каждому дереву огромные доски с предупреждениями. Вид этих досок пробуждает во мне самые дурные инстинкты. Мне хочется сорвать их и до тех пор барабанить ими по голове человека, который их повесил, пока он не умрет. Потом я его похороню и положу доску ему на могилу вместо надгробного памятника.

Я поделился своими чувствами с Гаррисом, и Гаррис сказал, что с ним дело обстоит еще хуже. Ему хочется не только убить человека, который велел повесить доску, но перерезать всю его семью, друзей и родственников и потом сжечь его дом. Такая жестокость показалась мне несколько чрезмерной, и я высказал это Гаррису. Но Гаррис возразил:

— Ничего подобного. Так им и надо. Я еще спел бы на развалинах куплеты.

Меня огорчило, что Гаррис настроен так кровожадно. Никогда не следует допускать, чтобы чувство справедливости вырождалось в простую мстительность. Потребовалось много времени, чтобы убедить Гарриса принять более христианскую точку зрения, но, наконец, это удалось. Он обещал, во всяком случае, пощадить друзей и родственников и не петь на развалинах куплетов.

Если бы вам хоть раз пришлось слышать, как Гаррис поет комические куплеты, вы бы поняли, какую услугу я оказал человечеству. Гаррис одержим навязчивой идеей, будто он умеет петь комические куплеты. Друзья Гарриса, которым довелось его слышать, наоборот, твердо убеждены в том, что он не умеет и никогда не будет уметь петь и что ему нельзя позволять это делать.

Когда Гаррис сидит где-нибудь в гостях и его просят спеть, он отвечает: «Вы же знаете — я пою только комические куплеты», — причем говорит это с таким видом, будто их-то он во всяком случае поет так, что достаточно один раз его услышать — и можно спокойно умереть.

— Ну вот и хорошо, — говорит хозяйка дома. — Спойте что-нибудь, мистер Гаррис.

И Гаррис поднимается и идет к роялю с широкой улыбкой добряка, который собирается сделать кому-нибудь подарок.

— Теперь, пожалуйста, тише, — говорит хозяйка, оглядываясь по сторонам. — Мистер Гаррис будет петь куплеты.

— Ах, как интересно! — слышится шепот.

Все спешат из зимнего сада, спускаются с лестницы, собирают людей со всего дома и толпой входят в гостиную. Потом все садятся в кружок, заранее улыбаясь.

И Гаррис начинает.

Конечно, для пения куплетов не требуется особых голосовых данных. Вы не ожидаете точности фразировки или чистоты звука. Неважно, если певец на середине ноты вдруг обнаруживает, что забрался слишком высоко и рывком съезжает вниз. Темп тоже не имеет значения. Мы простим певцу, если он обогнал аккомпанемент на два такта и вдруг останавливается посреди строки, чтобы обсудить этот вопрос с пианистом, а потом начинает куплет снова. Но мы ждем слов. Мы не готовы к тому, что певец помнит только три строки первого куплета и повторяет их до тех пор, пока не приходит время вступать хору. Мы не думали, что он способен вдруг остановиться на полуслове и с глупым хихиканьем сказать, что, как это ни забавно, но черт его побери, если он помнит, как там идет дальше. Потом он пробует сочинить что-нибудь от себя и после этого, дойдя уже до другого куплета, вдруг вспоминает и без всякого предупреждения останавливается, чтобы начать все снова и немедленно сообщить вам забытые слова. Мы не думали...

Но лучше я попробую показать вам, что такое пение Гарриса, и тогда судите сами.

**Гаррис** (*стоя перед фортепиано и обращаясь к публике*). Боюсь, что это слишком старо, знаете ли. Вам всем, наверное, известна эта песня. Но это единственное, что я пою. Это песня судьи из «Передника», то есть, я хочу сказать, не из «Передника», а... Ну, да вы знаете, что я хочу сказать. Ну, из той, другой оперетки. Вы все будете подпевать хором, разумеется.

Радостный шепот — всем хочется петь хором. Блестяще исполненное взволнованным пианистом вступление к песне судьи из «Суда присяжных». Гаррису пора начинать. Гаррис не замечает этого. Нервный пианист снова начинает вступление. Гаррис в ту же минуту принимается петь и одним духом выпаливает две начальные строки песенки Первого лорда из «Передника». Нервный пианист пробует продолжать вступление, сдается, пытается догнать Гарриса, аккомпанируя песне судьи из «Суда присяжных», видит, что это не подходит, пытается сообразить, что он делает и где находится, чувствует, что разум изменяет ему, и смолкает.

**Гаррис** (*ласково, желая его ободрить*). Прекрасно! Вы замечательно аккомпанируете. Продолжайте.

**Нервный пианист.** Боюсь, что где-то произошла ошибка. Что вы поете?

**Гаррис** (*быстро*). Как что? Песню судьи из «Суда присяжных». Разве вы не знаете?

**Один из друзей Гарриса** (*из глубины комнаты*). Да нет! Ты поешь песню адмирала из «Передника».

Продолжительный спор между Гаррисом и его приятелем о том, что именно поет Гаррис. Приятель, наконец, говорит, что это несущественно, лишь бы Гаррис вообще что-нибудь пел. Гаррис, которого явно терзает чувство оскорбленной справедливости, просит пианиста начать снова. Пианист играет вступление к песне адмирала. Гаррис, выбрав подходящий, по его мнению, момент, начинает:

Когда, в дни юности я адвокатом стал...

Общий хохот, принимаемый Гаррисом за знак одобрения. Пианист, вспомнив о жене и детях, отказывается от неравной борьбы и уходит. Его место занимает человек с более крепкими нервами.

**Новый пианист** (*весело*). Ну, старина, начинайте, а я пойду следом. Не стоит возиться со вступлением.

**Гаррис** (*который постепенно уяснил себе причину всего происходящего, со смехом*). Ах, Боже мой! Извините, пожалуйста! Ну, конечно, я перепутал эти песни. Это Дженкинс меня смутил. Ну, валяйте! (*Поет. Его голос звучит как из погреба и напоминает первые предвестники приближающегося землетрясения.*)

В дни юности в конторе я служил,  
Рассыльным у поверенного был.

(*В сторону, пианисту.*) Слишком низко, старина. Начнем еще раз, если не возражаете.

Снова поет те же две строчки, на сей раз высоким фальцетом. Публика удивлена. Нервная старая дама у камина начинает плакать, и ее приходится увести.

Я окна мыл, и пол я натирал,  
Я...

Нет, нет, «я стекла на парадной начищал и пол до блеска натирал».

Нет, черт побери, извините, пожалуйста! Вот забавно! Не могу вспомнить эту строчку. «Я... я...» Ну, ладно, попробуем прямо перейти к припеву. (Поет.)

И я, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,  
Теперь во флоте королевском адмирал.

Ну же, хор, повторяйте последние две строчки!  
Хор.

И он, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,  
Теперь во флоте королевском адмирал.

А Гаррис так и не понимает, в каком он оказался дурацком положении и как он надоел людям, которые не сделали ему ничего дурного. Он искренне думает, что доставил им удовольствие, и обещает спеть после ужина еще.

В связи с куплетами и вечеринками я вспомнил один любопытный случай, которому я был свидетелем. Он бросает яркий свет на процесс человеческого мышления и потому, думается мне, должен быть упомянут в этой книге.

Нас собралось несколько человек, очень светских и высококультурных. Мы надели свои лучшие костюмы, вели тонкие разговоры и были очень довольны — все, кроме двух молодых студентов, только что вернувшихся из Германии. Это были самые обыкновенные юноши, и они чувствовали себя как-то беспокойно и неудобно, словно находя, что время тянется слишком медленно. Дело в том, что мы были для них чересчур умны. Наш блестящий, но утонченный разговор и наши изысканные вкусы были им недоступны. В нашей компании они были явно не к месту. Им вообще не следовало быть здесь. Впоследствии все пришли к этому выводу.

Мы играли произведения старинных немецких композиторов. Мы рассуждали о философии, об этике. Мы с изысканным достоинством занимались флиртом. Мы даже острили — в светском тоне. После ужина кто-то прочитал французские стихи, и мы нашли их прекрасными. Потом одна дама спела чувствительную балладу по-испански, и некоторые из нас даже заплакали, до того она была трогательна.

И вдруг один из этих молодых людей поднялся и спросил, слышали ли

мы когда-нибудь, как герр Шлоссен-Бошен (он только что приехал и сидел внизу в столовой) поет немецкую комическую песню. Никому из нас как будто не приходилось ее слышать. Молодые люди сказали, что это самая смешная песня на свете и что, если угодно, они попросят герра Шлоссен-Бошена, с которым они хорошо знакомы, спеть ее. Это такая смешная песня, что когда герр Шлоссен-Бошен спел ее германскому императору, его (германского императора) пришлось увести и уложить в постель.

Никто не может спеть эту песню так, как герр Шлоссен-Бошен, говорили они. Исполняя ее, герр Шлоссен-Бошен все время так глубоко серьезен, что может показаться, будто он играет трагедию, и от этого все становится еще смешнее. Он не показывает голосом или поведением, что поет что-то смешное, — это бы все испортило. Именно его серьезный, почти патетический тон и делает пение таким бесконечно забавным.

Мы заявили, что жаждем его услышать, что испытываем потребность в здоровом смехе. Молодые люди спустились вниз и привели герра Шлоссен-Бошена.

Он, по-видимому, был рад нам спеть, потому что пришел немедленно и, не говоря ни слова, сел за рояль.

— Вот это будет забава! Вы посмеетесь, — шепнули нам молодые люди, проходя через комнату, и скромно заняли места за спиной профессора.

Герр Шлоссен-Бошен аккомпанировал себе сам. Вступление не предвещало особенно смешной песни. Это была медленная, полная чувства мелодия, от которой по спине пробежал холодок. Но мы шепнули друг другу, что это немецкий способ смешить, и приготовились наслаждаться.

Сам я не понимаю по-немецки. Я изучал этот язык в школе, но забыл все до последнего слова через два года после ее окончания и с тех пор чувствую себя значительно лучше. Все же я не хотел обнаружить перед присутствующими свое невежество. Поэтому я прибегнул к хитрой уловке: я не спускал глаз с молодых студентов и следовал их примеру. Когда они хихикали, я тоже хихикал, когда они хохотали, я тоже хохотал. Кроме того, я по временам слегка улыбался, словно отмечая смешную черточку, которой они не уловили. Этот прием я считал особенно удачным.

Через некоторое время я заметил, что многие из присутствующих, как и я, не сводили глаз с молодых людей. Они тоже хихикали, когда те хихикали, и хохотали, когда те хохотали. И так как эти молодые люди хихикали, хохотали и ржали почти непрерывно во время всей песни, дело шло замечательно.

Тем не менее немецкий профессор не казался довольным. Сначала,

когда мы захохотали, его лицо приняло крайне удивленное выражение, словно он меньше всего ожидал, что его пение встретят смехом. Мы сочли это очень забавным и подумали, что в серьезности профессора — половина его успеха. Малейший намек на то, что он знает, как он смешон, погубил бы все. Мы продолжали смеяться, и его удивление сменилось негодованием и досадой. Он окинул яростным взглядом нас всех, кроме тех двух студентов, которых он не видел, так как они сидели сзади. Тут мы прямо покатались со смеху. Мы говорили друг другу, что эта песня нас уморит. Одних слов было бы достаточно, чтобы довести нас до припадка, а тут еще та притворная серьезность. Нет, это уже чересчур!

В последнем куплете профессор превзошел самого себя. Он опалил нас взглядом, полным такой сосредоточенной ярости, что, не будь мы предупреждены о германской манере петь смешные песни, нам бы стало страшно. В его странной мелодии зазвучал такой вопль страдания, что мы бы заплакали, если бы не знали, что песня смешная.

Когда профессор кончил, все прямо визжали от смеха. Мы говорили, что в жизни не слышали ничего смешнее этой песни. Нам казалось очень странным, что, несмотря на подобные песни, в публике существует мнение, будто немцы лишены чувства юмора. Мы спросили профессора, почему он не переведет эту песню на английский язык, чтобы все могли понимать слова и узнали бы, что такое настоящая комическая песня.

Тут герр Шлоссен-Бошен встал и разразился. Он ругал нас по-немецки (мне кажется, это исключительно подходящий язык для такой цели), приплясывал, потрясал кулаками и обзывал нас всеми скверными английскими словами, какие знал. Он говорил, что его еще никогда в жизни так не оскорбляли.

Оказалось, что эта песня вовсе не комическая. В ней говорилось про одну молодую девушку, которая жила в горах Гарца и пожертвовала жизнью, чтобы спасти душу своего возлюбленного. Он умер и встретил в воздухе ее дух, а потом, в последнем куплете, он изменил ее духу и удрал с другим духом. Я не совсем уверен в подробностях, но знаю, что это было что-то очень печальное. Герр Бошен сказал, что ему пришлось однажды петь эту песню в присутствии германского императора, и он (германский император) рыдал, как дитя. Он (герр Бошен) заявил, что эта песня вообще считается одной из самых трагических и чувствительных в немецкой музыкальной литературе.

Мы были в тяжелом, очень тяжелом положении. Отвечать, казалось, было нечего. Мы поискали глазами двух молодых людей, которые нас так подвели, но они незаметным образом скрылись, едва только песня была

окончена.

Таков был конец этого вечера. Я никогда не видел, чтобы гости расходились так тихо, без всякой суеты. Мы даже не попрощались друг с другом. Мы спускались вниз поодиночке, стараясь ступать бесшумно и придерживаясь неосвещенной стороны. Мы шепотом просили лакея подать нам пальто, сами открывали двери, выскальзывали и поскорее сворачивали за угол, избегая смотреть друг на друга. С тех пор я уже никогда не проявлял особого интереса к немецким песням.

В половине четвертого мы подошли к шлюзу Санбери. Река здесь полна очарования, и отводной канал удивительно красив, но не пробуйте подняться по нему на веслах.

Однажды я попробовал это сделать. Я сидел на веслах и спросил приятелей, которые правили рулем, можно ли подняться вверх по течению. Они ответили: да, разумеется, если я очень постараюсь. Когда они это сказали, мы были как раз под пешеходным мостиком, переброшенным между двумя дамбами.

Я собрался с силами, налег на весла и начал грести.

Я греб великолепно. У меня скоро выработался непрерывный ритмический мах. Я действовал руками, ногами, спиной. Я греб быстро и красиво, работал в блестящем стиле. Приятели говорили, что смотреть на меня — чистое удовольствие. Когда прошло пять минут, я решил, что мы должны быть уже близко от запруды, и поднял глаза. Мы стояли под мостом, на том самом месте, с которого я начал, а мои два идиота хохотали так, что рисковали заболеть. Я, оказывается, лез из кожи, чтобы удержать лодку на одном месте, под мостом. Пусть теперь другие пробуют ходить на веслах по отводным каналам против сильного течения!

Мы поднялись вверх до Уолтона. Это одно из сравнительно больших местечек на побережье. Как и во всех прибрежных городах, только крошечный уголок Уолтона спускается к реке, так что с лодки может показаться, что это деревушка, состоящая из какого-нибудь десятка домиков. Кроме Виндзора и Эдингтона, между Лондоном и Оксфордом нет ни одного города, который был бы виден с реки целиком. Все остальные прячутся за углом и выглядывают на реку только какой-нибудь одной улицей. Спасибо им за то, что они так деликатны и предоставляют берега лесам, полям и водопроводным станциям.

Даже Рэдинг, хотя он из всех сил старается изгадить, загрязнить и обезобразить как можно более обширный участок реки, достаточно добродушен, чтоб спрятать значительную часть своего некрасивого лица.

У Цезаря, разумеется, было именище также и около Уолтона: лагерь,



укрепление или что-то в этом роде. Цезарь ведь был большой любитель рек. Королева Елизавета тоже бывала здесь. От этой женщины никуда не скроешься. Кромвель и Брэдшо (не автор путеводителя, а судья, приговоривший к смерти короля Карла) тоже сюда заглядывали. Веселенькая, вероятно, была компания.

В Уолтонской церкви хранится железная «узда для сварливых». В прежние время эти предметы употребляли, чтобы обуздать женщинам языки. Теперь от таких попыток отказались. Вероятно, железа стало мало, а всякий другой материал для этого слишком мягок. В той же церкви есть несколько интересных могил, и я боялся, что мне не удастся оттащить от них Гарриса. Но он, видимо, о них не думал, и мы продолжали путь. Выше моста река удивительно извилиста. Это придает ей живописность, но действует раздражающе на тех, кто гребет или тянет бечеву, и вызывает споры между гребцом и рулевым.

На правом берегу расположен Отлэндс-парк. Это знаменитое старинное поместье. Генрих VIII украл его у кого-то, не помню у кого, и поселился там. В парке есть грот, который можно осматривать за плату. Он считается очень интересным, но я лично не нахожу в нем ничего особенного. Покойная герцогиня Йоркская, которая жила в этом поместье, очень любила собак и держала их несметное количество. Она устроила особое кладбище, чтобы хоронить собак, когда они околеют, и теперь их лежит там штук пятьдесят, и над каждой поставлен надгробный камень с надписью.

Ну что же, сказать по правде, они заслуживают этого в такой же мере, как любой заурядный христианин.

У Коруэй-Стэйкса — первой излучины после Уолтонского моста — произошла битва между Цезарем и Кассивелауном. Кассивелаун, ожидая прихода Цезаря, понатыкал в реку столбов (и, наверное, прибил к ним доски с надписями). Но Цезарь все же перешел на другой берег. Цезаря нельзя было отогнать от этой реки. Вот кто бы нам теперь пригодился, чтобы воевать с приречными землевладельцами!

Хэллифорд и Шеппертон — красивые местечки в той части, где они подходят к реке, но в них нет ничего примечательного. На шеппертонском кладбище есть, правда, могила, на которой воздвигнут камень со стихами, и я опасался, как бы Гаррис не пожелал выйти и побродить вокруг нее. Я увидел, с какой тоской он смотрел на пристань, когда мы подъезжали, и ловким движеньем сбросил его кепку в воду. Хлопоты, связанные с ее выуживанием, и гнев на мою неловкость заставили Гарриса позабыть о своих любимых могилах.

Близ Уэйбриджа река Уэй (симпатичная речонка, по которой можно проплыть в небольшой лодке до самого Гилдфорда; я давно собираюсь исследовать ее, но так и не собрался), Берн и Бэзингетокский канал сливаются и вместе впадают в Темзу. Шлюз находится как раз напротив городка, и первое, что мы заметили, когда он стал виден, была фуфайка Джорджа у одного из ворот шлюза. Ближайшее исследование выяснило, что она облекала тело своего обладателя. Монморенси поднял дикий лай, я завопил, Гаррис заорал. Джордж крикнул нам в ответ. Сторож шлюза выбежал с драгой в руках, уверенный, что кто-нибудь упал в воду, и был явно раздосадован, убедившись в своей ошибке.

Джордж держал в руках какой-то странный пакет, завернутый в клеенку. Он был круглый и плоский на конце, и из него торчала длинная прямая ручка.

— Что это такое? — спросил Гаррис. — Сковородка?

— Нет, — ответил Джордж, поглядывая на нас с каким-то опасным блеском в глазах. — В этом году это очень модно. Все берут их с собой на реку. Это — банджо.

— Вот не знал, что ты играешь на банджо! — вскричали мы с Гаррисом в один голос.

— Я и не играю, — ответил Джордж. — Но это, говорят, очень легко. Кроме того, у меня есть самоучитель.

## Глава девятая

Джорджа запрягают в работу. — Дурные инстинкты бечевы. — Неблагодарное поведение четырехвесельной лодки. — Влекущие и влекомые. — Новое занятие для влюбленных. — Странное исчезновение пожилой дамы. — Поспешись — людей насмешишь. — На бечеве за девушками — сильное ощущение. — Пропавший шлюз, или Заколдованная река. — Музыка. — Спасены!

Заполучив, наконец, Джорджа, мы заставили его работать. Джорджу, конечно, не хотелось работать — это само собой разумеется. Ему порядком пришлось потрудиться в Сити, объяснил он. Гаррис, человек по натуре черствый и не склонный к жалости, сказал:

— Ах, вот как! Ну, а теперь тебе придется для разнообразия потрудиться на реке. Перемена полезна всякому. Выходи-ка!

По совести (даже при такой совести, как у Джорджа), Джорджу было нечего возразить, хотя он высказал мнение, что, может быть, ему лучше остаться в лодке и приготовить чай, в то время как мы с Гаррисом будем тянуть бечеву. Ведь приготовление чая — очень утомительное занятие, а мы с Гаррисом, видимо, устали. Вместо ответа мы передали ему бечеву, и он взял ее и вышел из лодки.

У бечевы есть некоторые странные и необъяснимые свойства. Вы сматываете ее так терпеливо и бережно, словно задумали сложить новые брюки, а пять минут спустя, подняв ее с земли, видите, что она превратилась в какой-то ужасный, отвратительный клубок. Я не хочу никого обидеть, но я твердо убежден, что если взять обыкновенную бечеву, растянуть ее посреди поля и на полминуты отвернуться, то окажется, что она за это время собралась в кучу, скрутилась, завязалась в узлы и превратилась в сплошные петли, а оба ее конца куда-то исчезли. Чтобы распутать ее, вам придется добрых полчаса просидеть на траве, непрерывно ругаясь.

Таково мое мнение о бечевках вообще. Конечно, могут быть достойные исключения, я не говорю, что их нет. Может быть, существуют бечевки, делающие честь своему сословию, — добросовестные, почтенные бечевки, которые не изображают из себя вязальных ниток и не пытаются превратиться в салфеточки, как только их предоставят самим себе. Повторяю, подобные бечевки, может быть, и существуют. Я искренно надеюсь, что это так. Но мне не приходилось с ними встречаться.

Нашей бечевкой я занялся самолично, незадолго до того как мы

подъехали к шлюзу. Я не позволил Гаррису прикасаться к ней, потому что Гаррис небрежен. Я медленно и старательно смотал ее, завязал посредине, сложил пополам и тихонько опустил на дно лодки; Гаррис по всем правилам искусства поднял ее и вложил в руку Джорджа. Джордж, крепко держа бечеву, отставил руку подальше и начал ее разматывать с такой осторожностью, словно распеленывал новорожденного младенца. Но не успел он раскрутить и десяти ярдов, как она уподобилась плетенному коврику, сделанному неумелыми руками новичка.

Так бывает всегда, и это неизменно влечет за собой одинаковые последствия. Человек на берегу, который пытается размотать бечеву, думает, что во всем виноват тот, кто ее сматывал. А когда человек на берегу реки что-нибудь думает, он высказывает это без обиняков.

— Что ты сделал с этой бечевой? Хотел сплести из нее рыбацью сеть? Здорово же ты ее запутал! Неужели нельзя было свернуть ее по-человечески, дуралей ты этакий!

Не переставая ворчать, он ведет отчаянную борьбу с бечевой, растягивает ее на дороге и бегают вокруг, стараясь найти ее конец.

Со своей стороны человек, который сматывал бечеву, думает, что основной виновник — тот, кто пытается ее раскрутить.

— Когда ты ее взял, она была в порядке! — с негодованием восклицает он. — Надо же думать о том, что делаешь! У тебя всегда все выходит кое-как. Ты ухитришься завязать узлом строительную балку!

Оба до того разгневаны, что каждому хочется повесить другого на этой самой бечеве. Проходит еще десять минут — и человек на берегу издает пронзительный вопль и впадает в бешенство. Он начинает плясать вокруг веревки и, желая ее распутать, тянет первую попавшуюся петлю. Разумеется, бечева от этого запутывается еще больше. Тогда его товарищ вылезает из лодки и хочет ему помочь, но они только толкаются и мешают друг другу. Оба хватаются за один и тот же кусок веревки и тянут его в разные стороны, не понимая, почему он не поддается. В конце концов они распутывают веревку и, обернувшись к реке, убеждаются, что их лодку отнесло от берега и гонит к запруде.

Мне самому пришлось быть свидетелем такого случая. Это произошло утром у Бовени, в довольно ветреную погоду. Мы гребли вниз по течению и, обогнув небольшой мыс, увидели на берегу двух человек. Они смотрели друг на друга с таким растерянным и беспомощно-огорченным выражением, какого я ни прежде, ни после не видел на человеческом лице. Каждый держал в руке конец длинной бечевы. Было ясно, что что-то случилось, мы замедлили ход и спросили их, в чем дело.

— Нашу лодку угнало, — ответили они негодующим тоном. — Мы только вышли, чтобы распутать бечеву, а когда мы оглянулись, лодка исчезла.

Они были явно оскорблены таким низким и неблагодарным поступком своей лодки.

Мы нашли беглянку, — она застряла в камышах на полмили ниже, — и привели ее назад. Бьюсь об заклад, что после этого они целую неделю не давали ей случая поплавать на свободе.

Я никогда не забуду, как эти двое ходили взад и вперед по берегу с бечевой в руках и разыскивали свою лодку.

Много забавных картинок можно наблюдать на реке! Часто приходится видеть, как двое быстро идут по берегу, таща за собой лодку и оживленно беседуя, а пассажир, в сотне ярдов позади них, тщетно кричит им, чтобы они остановились, и отчаянно размахивает веслом. У него что-то неладно — либо сломался руль, либо багор упал в воду, или шляпа слетела с головы и быстро плывет вниз по течению. Он просит товарищей остановиться, сначала кротко и вежливо.

— Эй, постойте-ка минутку! — весело кричит он. — Я уронил за борт шляпу.

Потом уже менее добродушно:

— Эй, Том, Дик, не слышите вы, что ли?!

Затем:

— Эй, черт вас возьми, идиоты вы такие, стойте! Ах, чтоб вас!..

Тут он вскакивает и начинает метаться по лодке, багровея от крика и ругая все и вся. Мальчишки на берегу останавливаются, хохочут и кидают в него камнями, а он проносится мимо них со скоростью четырех миль в час и не может выйти.

Многих подобных неприятностей было бы легко избежать, если бы те, кто тянет лодку, помнили, что они ее тянут, и почаще оглядывались на своего спутника. Лучше, чтобы бечеву тянул кто-нибудь один. Если это делают двое, они, заболтавшись, забывают обо всем на свете, а лодка, которая оказывает весьма небольшое сопротивление, не может им напомнить, чем они заняты.

Как пример того, до какой степени двое людей, тянущих лодку, могут забыть о своем деле, Джордж рассказал нам вечером, когда мы разговаривали на эту тему, одну очень любопытную историю.

Однажды под вечер, рассказывал Джордж, ему пришлось вместе с тремя другими гребцами вести тяжело нагруженную лодку вверх по реке от Мэйденхеда. Несколько выше Кукхэмского шлюза они заметили какого-то

человека и девушку, которые шли по дороге, видимо поглощенные интересным разговором. В руках у них был багор, а от багра тянулась привязанная к нему бечева, конец которой скрылся под водой. Но лодка отсутствовала, лодки нигде не было видно. Когда-то к этой бечеве несомненно была привязана лодка. Но что с ней случилось, какая ужасная судьба постигла ее и тех, кто в ней сидел, — это было окутано тайной.

Несчастье с лодкой, каково бы оно ни было, видимо не очень беспокоило молодого человека и барышню. Веревка и багор были при них, и это, очевидно, казалось им вполне достаточным.

Джордж хотел было крикнуть и разбудить их, но вдруг у него в голове мелькнула блестящая идея, и он промолчал. Схватив багор, он наклонился и подтянул к себе конец веревки; спутники Джорджа сделали на нем петлю и накинули ее на свою мачту, а потом подобрали весла, уселись на корме и закурили трубки.

И молодой человек с барышней проволокли тяжелую лодку и этих четырех увесистых нахалов до самого Марло.

По словам Джорджа, он никогда не видел в чьем-либо взоре столько задумчивой грусти, как у этих молодых людей, когда, достигнув шлюза, они убедились, что целые две мили тянули на бечеве чужую лодку. Джордж подумал, что, если бы не сдерживающее влияние кроткой женщины, юноша, пожалуй, не удержался бы от резких выражений.

Девушка опомнилась первой и, ломая руки, воскликнула отчаянным голосом:

— Генри, а где же тетя?!

— Что же, нашли они свою престарелую родственницу? — спросил Гаррис.

Джордж отвечал, что не знает этого.

Другой случай отсутствия духовной связи между влекущими и влекомыми пришлось однажды наблюдать мне самому вместе с Джорджем около Уолтона. Это было в том месте, где дорога отлого спускается к воде. Мы сидели на другом берегу и смотрели на реку.

Через некоторое время в виду показалась небольшая лодка. Она во весь опор мчалась по воде, влекомая могучей лошадью, на которой сидел очень маленький мальчик. В лодке мирно дремали в спокойных позах пять человек, особенно безмятежный вид был у рулевого.

— Хотел бы я, чтобы он потянул не за ту веревку, — пробормотал Джордж, когда лодка плыла мимо.

И сейчас же рулевой сделал это — и лодка налетела на берег с таким треском, словно кто-то разорвал сразу сорок тысяч полотняных простынь.

Два человека, корзина и три весла немедленно вылетели из лодки с бакборта и рассыпались по берегу; полторы секунды спустя еще двое покинули ее со штирборта и плюхнулись наземь среди крюков, парусов, мешков и бутылок. Последний пассажир проехал двадцатью ярдами больше и в конце концов вылетел головой вперед.

Это, видимо, облегчило лодку, и она пошла много быстрее; мальчик гикнул и пустил коня вскачь. Путники приподнялись и уставились друг на друга. Прошло несколько секунд, прежде чем они сообразили, что случилось; поняв это, они начали яростно кричать мальчишке, чтобы он остановился, но мальчишка был занят своей лошадейю и ничего не слышал. Мы смотрели, как они мчались за ним следом, пока расстояние не скрыло их от нас.

Нельзя сказать, чтобы мне было их жалко. Наоборот, я желал бы, чтобы все болваны, которые заставляют тащить свои лодки таким способом (а это делают очень многие), испытали подобное же несчастье. Не говоря о риске, которому подвергаются они сами, их лодка представляет опасность и неудобство для других. Идя таким ходом, они не могут свернуть в сторону и лишают других возможности посторониться. Их бечева цепляется за вашу мачту и перевертывает вас или задевает кого-нибудь из сидящих в лодке и либо сбрасывает его в воду, либо раскраивает ему физиономию. Самое правильное в таких случаях стойко держаться и быть готовым встретить их нижним концом мачты.

Из всех переживаний, связанных с бечевой, самое волнующее — когда ее тянут девушки. Это ощущение должен узнать всякий. Для того чтобы тянуть бечеву, всегда требуются три девушки: две тянут, третья бежит вокруг них и хохочет. Начинается обычно с того, что веревка обвивается у них вокруг ног, и им приходится садиться на дорогу и распутывать друг друга. Потом они наматывают веревку себе на шею и едва избегают удушья. В конце концов дело налаживается, и девушки бегом пускаются в путь с прямо-таки опасной скоростью. Через сто ярдов они, естественно, уже выдохлись и, внезапно остановившись, со смехом садятся на траву, а вашу лодку, прежде чем вы успели сообразить, в чем дело, и схватиться за весло, выносит на середину реки и начинает крутить. Девушки встают на ноги и громко удивляются.

— Посмотрите-ка, — говорят они, — он выехал на самую середину.

После этого они некоторое время тянут довольно прилежно. Вдруг одна из них вспоминает, что ей необходимо подколоть платье. Девушки замедляют ход, и лодка садится на мель.

Вы вскакиваете, сталкиваете лодку и кричите барышням, чтобы они не

останавливались.

— Что? Что случилось? — кричат они вам в ответ.

— Не останавливайтесь! — вопите вы.

— Что?! Что?!

— Не останавливайтесь! Идите вперед! Вперед!

— Пойди, Эмили, узнай, что им нужно? — говорит одна из девушек.

Эмили возвращается назад и спрашивает, в чем дело.

— Что вам нужно? — спрашивает она. — Что-нибудь случилось?

— Нет, все в порядке, — отвечаете вы. — Только идите вперед, не останавливайтесь.

— Почему?

— Если вы будете останавливаться, мы не сможем править. Вы должны держать лодку в движении.

— Держать в чем?

— В движении. Лодка должна двигаться.

— Ладно, я им скажу. Что, хорошо мы тянем?

— Да, очень мило. Только не останавливайтесь.

— Это, оказывается, вовсе не трудно. Я думала, что это много тяжелей.

— Нет, это очень просто. Надо только все время тянуть. Вот и все.

— Понимаю. Достаньте мне мою красную шаль. Она под подушкой.

Вы отыскиваете шаль и подаете ее Эмили. В это время подходит другая девушка и тоже высказывает желание взять шаль. На всякий случай они берут шаль и для Мэри, но Мэри она, оказывается, не нужна, так что девушки приносят ее обратно и берут вместо нее гребень. На все это уходит минут двадцать. Наконец девушки снова трогаются в путь, но на следующем повороте они видят корову — и приходится вылезать из лодки и прогонять корову.

Джордж через некоторое время наладил бечеву и провел нас, не останавливаясь, до Пентон-Хука. Там мы принялись обсуждать важный вопрос о ночлеге. Мы решили провести эту ночь в лодке, и нам предстояло сделать привал либо здесь, либо уже выше Стэйнса. Укладываться сейчас, когда солнце еще светило, было рановато. Поэтому мы решили проплыть еще три мили с четвертью до Раннимиды. Это тихий лесистый уголок на реке, где можно найти надежный приют.

Впоследствии мы все, однако, жалели, что не остановились у Пентон-Хука. Проплыть три или четыре мили вверх по течению утром — сущий пустяк, но к концу дня это трудное дело. Окружающий ландшафт вас уже не интересует. Вам больше не хочется болтать и смеяться. Каждая полумиля тянется как две. Вы не верите, что находитесь именно там, где



находитесь, и убеждены, что карта врет. Протащившись, как вам кажется, по крайней мере десять миль и все еще не видя шлюза, вы начинаете серьезно опасаться, что кто-нибудь стащил его и удрал.

Я помню, однажды на реке меня совсем перевернуло (в переносном смысле, конечно). Я катался с одной барышней, моей кузиной по материнской линии, и мы плыли вниз по течению к Горингу. Мы слегка опаздывали, и нам хотелось (барышне, по крайней мере, хотелось) поскорее вернуться домой. Когда мы доплыли до Бенсонского шлюза, была половина седьмого. Надвигались сумерки, и барышня начала волноваться. Она заявила, что ей надо быть дома к ужину. Я заметил, что тоже чувствую стремление не опоздать к этому событию, и вынул карту, чтобы удостовериться, далеко ли нам еще плыть. Я убедился, что до следующего шлюза — Уоллингфордского — остается ровно полторы мили, а оттуда до Клива — пять.

— Все в порядке, — сказал я. — Ближайший шлюз мы пройдем еще до семи, а там останется еще только один — и все. — И я налег на весла.

Мы миновали мост, и скоро после этого я спросил, видит ли она шлюз. Она ответила, что не видит. Я сказал: «А-а», — и продолжал грести. Через пять минут я опять задал ей тот же вопрос.

— Нет, — сказала она, — я не вижу никаких признаков шлюза.

— А ты... ты знаешь, что такое шлюз? — спросил я нерешительно, опасаясь, как бы она не обиделась.

Она и вправду обиделась и предложила мне убедиться самому. Я положил весла и оглянулся. Река, окутанная сумерками, была видна примерно на милю вперед, но ничего похожего на шлюз я на ней не заметил.

— А мы не могли заблудиться? — спросила моя спутница.

Я отмел такую возможность, хотя и допустил гипотезу, что мы могли каким-то образом попасть в боковое русло и сейчас приближаемся к водопаду.

Эта мысль не доставила ей радости, и она заплакала. Она сказала, что мы оба утонем и что это ей наказание за то, что она поехала со мной.

Мне такое наказание показалось чрезмерно строгим, но кузина моя стояла на своем и хотела только, чтобы все кончилось поскорее.

Я пытался успокоить ее, уговаривал не смотреть на дело так мрачно. Просто я, значит, гребу медленнее, чем мне казалось. Теперь-то уж мы скоро доберемся до шлюза. И я прогреб еще с милю.

После этого я уже сам начал нервничать. Я снова посмотрел на карту. Вот он, Уоллингфордский шлюз, ясно отмечен в полутора милях ниже

Бенсонского. Это была хорошая, надежная карта, и, кроме того, я сам помнил этот шлюз. Я проходил его дважды. Где мы находимся? Что с нами произошло? Я начал думать, что все это сон, что на самом деле я сплю в своей кровати и через минуту проснусь и мне скажут, что уже одиннадцатый час.

Я спросил мою кузину, не думает ли она, что это сон. Она ответила, что только что собиралась задать мне тот же вопрос. Потом мы решили, что, может быть, мы оба спим, но в таком случае, кто же из нас действительно видит сон, а кто представляет собой лишь сновиденье? Это становилось даже интересно.

Я продолжал грести, но шлюза по-прежнему не было. Река под набегающей тенью ночи становилась все сумрачней и таинственней, и все предметы казались загадочными и необычными. Я начал думать о домовых, леших, блуждающих огоньках и о тех грешных девушках, которые по ночам сидят на скалах и заманивают людей своим пением в водовороты и омуты. Я раскаивался, что не вел себя лучше и не выучил побольше молитв. И вдруг посреди этих размышлений я услышал благословенные звуки песенки «Он их надел», скверно исполняемой на гармонике, и понял, что мы спасены.

Обычно звуки гармоники не вызывают у меня особого восхищения. Но до чего прекрасной показалась нам обоим эта музыка в ту минуту! Много, много прекрасней, чем голос Орфея или лютня Аполлона, или что-нибудь им подобное. Небесная мелодия при нашем тогдашнем состоянии духа лишь еще более расстроила бы нас. Трогательную, хорошо исполняемую музыку мы сочли бы вестью из потустороннего мира и потеряли бы всякую надежду. Но в судорожных, с произвольными вариациями, звуках «Он их надел», извлекаемых из визгливой гармошки, было что-то необыкновенно человеческое и успокоительное.

Эти сладкие звуки слышались все ближе и ближе, и вскоре лодка, с которой они доносились, уже стояла бок о бок с нашей.

В ней находилась компания деревенских кавалеров и барышень, выехавших покататься при лунном свете (луны не было, но это уж не их вина). Никогда в жизни не видел я людей столь привлекательных и милых моему сердцу. Окликнув их, я спросил, не могут ли они указать мне дорогу к Уоллингфордскому шлюзу, и объяснил, что уже целых два часа ищу его.

— Уоллингфордский шлюз! — отвечали они. — Господи Боже мой, сэр, вот уже больше года, как с ним разделились. Нет уже больше Уоллингфордского шлюза, сэр! Вы теперь недалеко от Клива. Провалиться мне на этом месте, Билл, если этот джентльмен не ищет Уоллингфордский

шлюз!

Такая возможность не приходила мне в голову. Мне хотелось броситься им всем на шею и осыпать их благословениями, но течение было слишком сильно и не допускало этого, так что пришлось ограничиться холодными словами признательности.

Мы благодарили этих людей несчетное число раз. Мы сказали, что сегодня чудесная ночь, и пожелали им приятной прогулки. Я, кажется, даже пригласил их на недельку в гости, а моя кузина сказала, что ее мать будет страшно рада их видеть. Мы запели хор солдат из «Фауста» и в конце концов все-таки успели домой к ужину.

## Глава десятая

Первая ночевка. — Под брезентом. — Призыв о помощи. — Упрямство чайника; как его преодолеть. — Ужин. — Как почувствовать себя добродетельным. — Требуется уютно обставленный, хорошо осушенный необитаемый остров, предпочтительно в южной части Тихого океана. — Забавное происшествие с отцом Джорджа. — Беспокойная ночь.

Нам с Гаррисом начало казаться, что с Бель-Уирским шлюзом разделились точно таким же образом. Джордж вел нас на бечеве до Стэйнса, там мы сменили его. Нам представлялось, что мы тянем за собой пятьдесят тонн и прошли сорок миль. Когда мы кончили тянуть, было уже половина восьмого. Мы все уселись в лодку и подъехали к левому берегу, ища места, где бы высадиться. Первоначально мы предполагали пристать к острову Великой Хартии, в тихом, красивом месте, где река вьется по ровной, покрытой зеленью долине, и заночевать в одном из живописных заливчиков, которых так много у этого островка. Но почему-то теперь мы не испытывали такого повышенного стремления к живописному, как утром. Водное пространство между угольной баржей и газовым заводом вполне удовлетворило бы нас в эту ночь. Нам не хотелось красивых пейзажей — нам хотелось поужинать и лечь спать. Тем не менее мы подгребли к мысу (он называется «Мыс пикников») и остановились в приятном уголке, под могучим вязом, к широко разросшимся корням которого мы привязали нашу лодку.

После этого мы намеревались поужинать, но Джордж сказал: нет! Сначала, пока не совсем стемнело и еще видишь, что делаешь, нам следует натянуть брезент. Тогда с работой будет покончено, и мы с легким сердцем примемся за еду.

Но натягивание брезента оказалось более длительным делом, чем мы предполагали. В теории это выглядит очень просто. Вы берете пять железных дужек, похожих на гигантские воротца для крокета, устанавливаете их вдоль всей лодки, потом натягиваете на них брезент и привязываете его. Это займет минут десять, не больше, думали мы. Но мы ошиблись.

Мы взяли дужки и начали вставлять их в приготовленные для них гнезда. Никто бы не подумал, что это опасная работа, но теперь, оглядываясь назад, я удивляюсь лишь тому, что все мы живы и еще можем об этом рассказывать. Это были не дужки — это были дьяволы. Сначала

они вообще отказывались влезать в гнезда, так что нам пришлось прыгать по ним, бить их ногами и колотить багром. Когда они, наконец, влезли, оказалось, что мы вставили их в неправильном порядке, и их пришлось вынимать обратно.

Но они не хотели вылезать. С каждой двое из нас мучились по пять минут, после чего они внезапно выскакивали и пытались сбросить нас в воду и утопить. У них были посредине шарниры, и стоило нам отвернуться, как они щипали нас этими шарнирами за чувствительные места. Пока мы сражались с одной стороной дужки и пытались убедить ее выполнить свой долг, другая предательски подбиралась к нам сзади и ударяла нас по голове.

Наконец мы вставили дужки, и нам осталось только натянуть на них брезент. Джордж развернул его и укрепил один конец на носу. Гаррис встал посредине, чтобы взять его у Джорджа, а я держался на корме, готовясь поймать свой конец. Он долго не доходил до меня. Джордж сделал все, что нужно, но для Гарриса эта работа была внове, и он все испортил.

Как это ему удалось, я не знаю, Гаррис и сам не мог этого объяснить. Но после десятиминутных сверхчеловеческих усилий он ухитрился совершенно закатать себя в парусину. Он до такой степени плотно закутался и завернулся в нее, что не мог высвободиться. Разумеется, он начал отчаянно бороться за свою свободу — прирожденное право каждого англичанина — и во время борьбы (как я узнал после) сбил с ног Джорджа. Джордж, осыпая Гарриса ругательствами, тоже начал барахтаться и сам завернулся и закутался в парусину.

В то время я ничего об этом не знал. Я совершенно не понимал, в чем дело. Мне было велено стоять на месте и ждать, и мы с Монморенси стояли и ждали тихо и смирно. Мы видели, что парусину сильно бьет и толкает во все стороны, но считали, что так и полагается, и не вмешивались.

До нас доносились из-под брезента приглушенные ругательства. Мы поняли, что работа, которой заняты Гаррис и Джордж, причиняет им некоторые неудобства, и решили, прежде чем присоединиться к ним, дать им немного успокоиться.

Мы подождали еще несколько минут, но положение, видимо, запутывалось все больше. Наконец из-под брезента высунулась винтообразным движением голова Джорджа и проговорила:

— Помоги же нам, балда ты этакая! Видишь, что мы оба здесь задыхаемся, а сам стоишь как мумия, болван!

Я никогда не оставался глух к призыву о помощи, и тотчас распутал их. Это было вполне своевременно, так как лицо у Гарриса уже совсем почернело.

Нам потребовалось еще полчаса тяжелого труда, чтобы натянуть парусину как следует, после этого мы принялись за ужин. Мы поставили чайник на спиртовку на носу лодки, а сами ушли на корму, делая вид, что не обращаем на него внимания, и стали доставать остальное.

На реке это единственный способ заставить чайник вскипеть. Если он заметит, что вы с нетерпением этого ожидаете, он даже не зашумит. Вам лучше отойти подальше и начать есть, как будто вы вообще не хотите чаю. На чайник не следует даже оглядываться. Тогда вы скоро услышите, как он булькает, словно умоляя вас поскорее заварить чай.

Если вы очень торопитесь, то хорошо помогает громко говорить друг другу, что вам совсем не хочется чая и что вы не будете его пить. Вы подходите к чайнику, чтобы он мог вас услышать, и кричите: «Я не хочу чая! А ты, Джордж?». И Джордж отвечает: «Нет, я не люблю чай, выпьем лучше лимонаду. Чай плохо переваривается». После этого чайник сейчас же перекипает и заливает спиртовку.

Мы применили эту безобидную хитрость, и в результате, когда все остальное было готово, чай уже ожидал нас. Тогда мы зажгли фонарь и сели ужинать.

Этот ужин был нам крайне необходим. В течение тридцати пяти минут во всей лодке не было слышно ни звука, кроме звона ножей и посуды и непрерывной работы четырех пар челюстей. Через тридцать пять минут Гаррис сказал: «Уф!» — вынул из-под себя левую ногу и заменил ее правой. Спустя пять минут Джордж тоже сказал: «Уф!» — и выбросил свою тарелку на берег. Еще через три минуты Монморенси выказал первые признаки удовлетворения, с тех пор как мы тронулись в путь, лег на бок и вытянул ноги, а потом я сказал: «Уф!» — откинул назад голову и ударился ею об одну из дужек, но не обратил на это никакого внимания. Я даже не выругался.

Как хорошо себя чувствуешь, когда наешься! Как доволен бываешь самим собой и всем миром! Некоторые люди, ссылаясь на собственный опыт, утверждают, что чистая совесть делает человека веселым и довольным, но полный желудок делает это ничуть не хуже, и притом дешевле и с меньшими трудностями. После основательного, хорошо переваренного приема пищи чувствуешь себя таким великодушным, снисходительным, благородным и добрым человеком!

Странно, до какой степени пищеварительные органы властвуют над нашим рассудком. Мы не можем думать, мы не можем работать, если наш желудок не хочет этого. Он управляет всеми нашими страстями и переживаниями. После грудинки с яйцами он говорит: работай; после

бифштекса и портера: спи; а после чашки чаю (две ложки на каждую чашку, настаивать не больше трех минут) он повелевает мозгу: теперь поднимайся и покажи, на что ты способен. Будь красноречив, глубок и нежен. Смотри ясным оком на природу и на жизнь. Раскинь белые крылья трепещущей мысли и лети, как богоподобный дух, над шумным светом, устремляясь меж длинными рядами пылающих звезд к вратам вечности.

После горячих пышек он говорит: будь туп и бездушен, как скотина в поле, будь безмозглым животным с равнодушным взором, в котором не светится ни жизнь, ни воображение, ни надежда, ни страх, ни любовь. А после бренди, употребленного в должном количестве, он повелевает: теперь дури, смейся и пляши, чтобы смеялись твои ближние; болтай чепуху, издавай бессмысленные звуки; покажи, каким беспомощным пентюхом становится несчастное существо, ум и воля которого потоплены, как котятка, в нескольких глотках алкоголя.

Все мы — жалкие рабы желудка. Не стремитесь быть нравственными и справедливыми, друзья! Внимательно наблюдайте за вашим желудком, питайте его с разумением и тщательностью. Тогда удовлетворение и добродетель воцарятся у вас в сердце без всяких усилий с вашей стороны; вы станете добрым гражданином, любящим мужем, нежным отцом — благородным, благочестивым человеком.

Перед ужином мы с Джорджем и Гаррисом были сварливы, раздражительны и дурно настроены; после ужина мы сидели и широко улыбались друг другу, мы улыбались даже нашей собаке. Мы любили друг друга, мы любили всех.

Гаррис, расхаживая по лодке, наступил Джорджу на мозоль. Случись это до ужина, Джордж высказал бы множество разных пожеланий о судьбе Гарриса в здешней и будущей жизни, от которых содрогнулся бы всякий мыслящий человек. Теперь же он сказал только: «Тише, старина! Легче на поворотах». А Гаррис, вместо того чтобы обозлиться и заявить, что нормальному человеку просто невозможно не наступить на какую-либо часть ноги Джорджа, передвигаясь на расстоянии десяти ярдов от того места, где он сидит, или намекнуть, что Джорджу вообще не следовало бы, имея ноги такой длины, садиться в лодку обычных размеров, и посоветовать ему свесить ноги за борт — все это он, несомненно, высказал бы до ужина, теперь сказал: «Виноват, старина, надеюсь, я не сделал тебе больно?». И Джордж ответил, что нет, нисколько, что он сам виноват, а Гаррис возразил, что виноват он.

Было прямо-таки приятно их слушать.

Джордж спросил, почему мы не можем всегда быть такими, пребывать

вдали от света, с его соблазнами и пороками, и вести мирную, воздержанную жизнь, творя добро. Я сказал, что я сам часто испытывал стремление к этому, и мы стали обсуждать, нельзя ли нам, всем четверым, удалиться на какой-нибудь удобный, хорошо обставленный необитаемый остров и жить там среди лесов.

Гаррис сказал, что, насколько ему известно, главное неудобство необитаемых островов состоит в том, что там очень сыро. Джордж ответил, что, если они хорошо осушены, это ничего.

Мы заговорили об осушении, и это напомнило Джорджу одну очень смешную историю, которая произошла с его отцом. Его отец путешествовал с одним человеком по Уэльсу, и однажды они остановились на ночь в маленькой гостинице. Там были еще другие постояльцы, и отец Джорджа с товарищем присоединились к ним и провели с ними вечер.

Время прошло очень весело. Все поздно засиделись, и, когда настало время идти спать, наши двое (отец Джорджа был тогда еще очень молод) были слегка навеселе. Они (отец Джорджа и его приятель) должны были спать в одной комнате с двумя кроватями. Взяв свечу, они поднялись наверх. Когда они входили в комнату, свечка ударилась о стену и погасла. Им пришлось раздеваться и разыскивать свои кровати в темноте. Так они и сделали, но, вместо того чтобы улечься на разные кровати, они оба, не зная того, влезли в одну и ту же, один лег головой к подушке, а другой забрался с противоположной стороны и положил на подушку ноги.

С минуту царило молчание. Потом отец Джорджа сказал:

— Джо!

— Что случилось, Том? — слышался голос Джо с другого конца кровати.

— В моей постели лежит еще кто-то, — сказал отец Джорджа, — его нога у меня на подушке.

— Это удивительно, Том, — ответил Джо, — но черт меня побери, если в моей постели тоже не лежит еще один человек.

— Что же ты думаешь делать? — спросил отец Джорджа.

— Я его выставлю, — ответил Джо.

— И я тоже, — храбро заявил отец Джорджа.

Произошла короткая борьба, за которой последовали два тяжелых удара об пол. Затем чей-то жалобный голос сказал:

— Эй, Том!

— Что?

— Ну, как дела?

— Сказать по правде, мой выставил меня самого.



— И мой тоже. Ты знаешь, эта гостиница мне не очень нравится. А тебе?

— Как называлась гостиница? — спросил Гаррис.

— «Свинья и свиток», — ответил Джордж. — А что?

— Нет, значит, это другая, — сказал Гаррис.

— Что ты хочешь сказать? — спросил Джордж.

— Это очень любопытно, — пробормотал Гаррис. — Точно такая же история случилась с моим отцом в одной деревенской гостинице. Я часто слышал от него этот рассказ. Я думал, что это, может быть, та же самая гостиница.

В этот вечер мы улеглись в десять часов, и я думал, что, утомившись, буду хорошо спать, но вышло иначе. Обычно я раздеваюсь, кладу голову на подушку, и потом кто-то колотит в дверь и кричит, что уже половина девятого; но сегодня все, казалось, было против меня: новизна всего окружающего, твердое ложе, неудобная поза (ноги у меня лежали под одной скамьей, а голова на другой), плеск воды вокруг лодки и ветер в ветвях не давали мне спать и волновали меня.

Наконец я заснул на несколько часов, но потом какая-то часть лодки, которая, по-видимому, выросла за ночь (ее несомненно не было, когда мы тронулись в путь, а с наступлением утра она исчезла) начала буравить мне спину. Некоторое время я продолжал спать и видел во сне, что проглотил соверен и что какие-то люди хотят провертеть у меня в спине дырку, чтобы достать монету. Я нашел это очень неделикатным и сказал, что останусь им должен этот соверен и отдам его в конце месяца. Но никто не хотел об этом и слышать, и мне сказали, что лучше будет извлечь соверен сейчас, а то нарастут большие проценты. Тут я совсем рассердился и высказал этим людям, что я о них думаю, и тогда они вонзили в меня бурав с таким вывертом, что я проснулся.

В лодке было душно, у меня болела голова, и я решил выйти и подышать воздухом в ночной прохладе. Я надел на себя то, что попало под руку — часть одежды была моя, а часть Джорджа и Гарриса, — и вылез из-под парусины на берег.

Ночь была великолепная. Луна зашла, и затихшая земля осталась наедине со звездами. Казалось, что, пока мы, ее дети, спали, звезды в тишине и безмолвии разговаривали с нею о каких-то великих тайнах; их голос был слишком низок и глубок, чтобы мы, люди, могли уловить его нашим детским ухом.

Они пугают нас, эти странные звезды, такие холодные и ясные. Мы похожи на детей, которых их маленькие ножки привели в полуосвещенный

храм божества... Они привыкли почитать этого бога, но не знают его. Стоя под гулким куполом, осеняющим длинный ряд призрачных огней, они смотрят вверх, и боясь и надеясь увидеть там какой-нибудь грозный призрак.

А в то же время ночь кажется исполненной силы и утешения. В присутствии великой ночи наши маленькие горести куда-то скрываются, устыдившись своей ничтожности. Днем было так много суеты и забот. Наши сердца были полны зла и горьких мыслей, мир казался нам жестоким и несправедливым. Ночь как великая, любящая мать положила свои нежные руки на наш пылающий лоб и улыбается, глядя в наши заплаканные лица. Она молчит, но мы знаем, что она могла бы сказать, и прижимаемся разгоряченной щекой к ее груди. Боль прошла.

Иногда наше страдание подлинно и глубоко, и мы стоим перед ней в полном молчании, так как не словами, а только стоном можно выразить наше горе. Сердце ночи полно жалости к нам: она не может облегчить нашу боль. Она берет нас за руку, и маленький наш мир уходит далеко-далеко; вознесенные на темных крыльях ночи, мы на минуту оказываемся перед кем-то еще более могущественным, чем ночь, и в чудесном свете этой силы вся человеческая жизнь лежит перед нами, точно раскрытая книга, и мы сознаем, что Горе и Страдание — ангелы, посланные богом.

Лишь те, кто носил венец страдания, могут увидеть этот чудесный свет. Но, вернувшись на землю, они не могут рассказать о нем и поделиться тайной, которую узнали.

Некогда, в былые времена, ехали на конях в чужой стране несколько добрых рыцарей. Путь их лежал через дремучий лес, где тесно сплелись густые заросли шиповника, терзавшие своими колючками всякого, кто там заблудится. Листья деревьев в этом лесу были темные и плотные, так что ни один луч солнца не мог пробиться сквозь них и рассеять мрак и печаль.

И когда они ехали в этом лесу, один из рыцарей потерял своих товарищей и отбился от них и не вернулся больше. И рыцари в глубокой печали продолжали путь, оплакивая его как покойника.

И вот они достигли прекрасного замка, к которому направлялись, и пробыли там несколько дней, предаваясь веселью. Однажды вечером, когда они беззаботно сидели у огня, пылающего в зале, и осушали один кубок за другим, появился их товарищ, которого они потеряли, и приветствовал их. Он был в лохмотьях, как нищий, и глубокие раны зияли на его нежном теле, но лицо его светилось великой радостью.

Рыцари стали его спрашивать, что с ним случилось, и он рассказал, как, заблудившись в лесу, проплутал много дней и ночей и, наконец,

окровавленный и истерзанный, лег на землю, готовясь умереть.

И когда он уже был близок к смерти, вдруг явилась ему из мрачной тьмы величавая женщина и, взяв его за руку, повела по извилистым тропам, неведомым человеку. И, наконец, во тьме леса засиял свет, в сравнении с которым сияние дня казалось светом фонаря при солнце, и в этом свете нашему измученному рыцарю предстало видение. И столь прекрасным, столь дивным казалось ему это видение, что он забыл о своих кровавых ранах и стоял как очарованный, полный радости, глубокой, как море, чья глубина не ведома никому. И видение рассеялось, и рыцарь, преклонив колени, возблагодарил святую, которая в этом дремучем лесу увлекла его с торной дороги, и он увидел видение, скрытое в нем.

А имя этому лесу было Горе; что же касается видения, которое увидел в нем добрый рыцарь, то о нем нам поведать не дано.

## Глава одиннадцатая

О том, как Джордж однажды встал рано. — Джордж, Гаррис и Монморенси не любят вида холодной воды. — Героизм и решительность Джея. — Джордж и его рубашка. — История с нравоучением. — Гаррис в роли повара. — Историческая реминисценция, включенная специально для детей школьного возраста.

На следующее утро я проснулся в шесть часов и обнаружил, что Джордж тоже проснулся. Мы оба повернулись на другой бок и попробовали опять заснуть, но это не удалось. Будь у нас какая-либо особая надобность не спать, а сейчас же встать и одеться, мы бы, наверное, упали на подушки, едва взглянув на часы, и прохрапели бы до десяти. Но, так как не было решительно никаких оснований встать раньше, чем через два часа, и подняться в шесть часов было бы совершенно нелепо, мы чувствовали, что пролежать еще пять минут для нас равносильно смерти. Такова уж извращенность человеческой природы.

Джордж сказал, что нечто подобное, но только много хуже, случилось с ним года полтора назад, когда он снимал комнату у некоей миссис Гиппингс.

Однажды вечером, рассказывал он, его часы испортились и остановились в четверть девятого. В то время он не заметил этого, так как забыл почему-то завести часы, когда ложился спать (случай для него необычный), и повесил их над головой, даже не взглянув на циферблат.

Случилось это зимой, перед самым коротким днем и к тому же в туманную погоду. То обстоятельство, что утром, когда Джордж проснулся, было совершенно темно, не могло послужить ему указанием. Он поднял руку и потянул к себе часы. Было четверть девятого.

— Святители небесные, спасите! — воскликнул Джордж. — Мне ведь нужно к девяти часам быть в банке! Почему меня никто не разбудил? Какое безобразие!

Он бросил часы, выскочил из постели, принял холодную ванну, умылся, оделся, побрился холодной водой — горячей ждать было некогда — и еще раз взглянул на часы. То ли от сотрясения при ударе о постель, то ли по какой-нибудь иной причине — этого Джордж сказать не мог, — но так или иначе, часы пошли и теперь показывали без двадцати девять. Джордж схватил часы и бросился вниз по лестнице. В гостиной было темно и тихо. Камин не топился, завтрак не было. Джордж подумал, что это

позор для миссис Г., и решил высказать ей свое мнение, когда вернется. Потом он ринулся за своим пальто и шляпой, схватил зонтик и устремился к выходной двери. Дверь была на засове. Джордж обозвал миссис Г. старой лентяйкой и нашел очень странным, что люди не могут подняться своевременно, в подобающий порядочным англичанам час. Он отодвинул засов, отпер дверь и выбежал на улицу.

Четверть мили он бежал со всех ног, и лишь после этого ему начало казаться странным и непонятным, что на улице так мало народа и все магазины заперты. Утро было, конечно, очень темное и туманное, но нельзя же все-таки по этой причине прекращать все дела. Ему же, например, надо идти на работу! С какой стати другие лежат в постели только потому, что темно и на улице туман?

Наконец он дошел до Холборна. Все ставни опущены, нигде ни одного омнибуса. В поле зрения Джорджа были три человека, из них один полисмен, да еще воз с капустой и обшарпанный кеб. Джордж вынул часы и посмотрел — было без пяти девять. Он остановился и сосчитал свой пульс. Потом наклонился и пощупал свои ноги. Затем, не выпуская часы из рук, подошел к полисмену и спросил, не знает ли он, который час.

— Какой час? — спросил полисмен, окидывая Джорджа явно подозрительным взглядом. — Послушайте, сейчас пробьет.

Джордж прислушался, и ближайшие уличные часы удовлетворили его любопытство.

— Но они пробили только три! — воскликнул Джордж обиженным тоном, когда часы кончили бить.

— А сколько же вы хотите, чтобы они били? — спросил констебль.

— Как сколько? Девять, — ответил Джордж, показывая на свои часы.

— Знаете вы, где вы живете? — строго спросил его блюститель порядка.

Джордж подумал и дал свой адрес.

— Ах, так вы вот где проживаете! — сказал полисмен. — Послушайте моего совета: идите себе спокойно домой, заберите с собой ваши часы и больше так не делайте.

И Джордж в задумчивости отправился домой и вошел в свою квартиру.

Придя к себе, он хотел было раздеться и снова лечь спать, но, подумав, что придется второй раз одеваться, бриться и принимать ванну, решил не раздеваться и поспать в кресле.

Но он не мог спать: никогда в жизни он не чувствовал себя таким бодрым.

Он зажег лампу, достал шахматы и сыграл сам с собой партию. Это его

тоже не развлекло и показалось ему скучным. Он бросил шахматы и попробовал читать. Однако он был, видимо, не способен заинтересоваться чтением и потому снова надел пальто и вышел пройтись.

На улице было пустынно и мрачно. Все полисмены, попадавшие Джорджу навстречу, поглядывали на него с нескрываемым подозрением, освещали его своим фонарем и шли за ним следом. В конце концов это так подействовало на Джорджа, что ему стало казаться, будто он и вправду что-то такое натворил. Он шел крадучись по переулкам и, слышав тяжелые шаги полисменов, прятался в темные подворотни. Разумеется, такое поведение только усугубило недоверие полицейских: они подошли, обыскали Джорджа и спросили, что он тут делает. Когда он ответил, что ничего и что он просто вышел прогуляться (дело было в четыре часа утра), ему явно не поверили, и два констебля в штатском платье проводили его до дому, чтобы убедиться, что он действительно проживает там, где сказал. Увидев, что у него есть свой ключ, полицейские заняли позицию напротив дома и начали за ним наблюдать.

Джордж решил затопить камин и приготовить себе завтрак — просто так, чтобы убить время. Но что бы он ни взял в руки, будь то совок с углями или чайная ложка, все падало на пол; он поминутно обо что-нибудь спотыкался и при этом страшно шумел. Его охватил смертельный ужас при мысли, что миссис Г. проснется, подумает, что это воры, раскроет окно и крикнет: «Полиция!» — и те два сыщика ворвутся в дом, закуют его в наручники и отведут в участок.

Постепенно Джордж пришел в болезненно-нервное состояние. Ему представлялось, что идет суд, что он пытается объяснить присяжным обстоятельства дела, но никто ему не верит. Его приговаривают к двадцати годам каторги, и его мать умирает с горя. Поэтому он бросил готовить завтрак, завернулся в пальто и просидел в своем кресле, пока миссис Г., в половине восьмого, не спустилась вниз.

Джордж сказал, что с тех пор он ни разу не поднимался так рано. Это послужило ему хорошим уроком.

Пока Джордж рассказывал эту правдивую историю, мы оба сидели, завернувшись в пледы. Когда он кончил, я принялся будить Гарриса веслом. Ткнув его в третий раз, я достиг цели. Гаррис повернулся на другой бок и сказал, что он сию минуту спустится и хотел бы получить свои штиблеты со шнуровкой.

Однако с помощью багра мы скоро дали ему понять, где он находится, и Гаррис внезапно сел прямо, отбросив на противоположный конец лодки Монморенси, который спал на его груди сном праведника.

Потом мы приподняли парусину, высунули все вместе головы за борт, посмотрели на воду и поежились. Накануне вечером мы предполагали встать рано поутру, сбросить наши пледы и одеяла и, откинув парусину, с веселым криком броситься в воду, чтобы вдоволь поплавать. Но почему-то, когда наступило утро, эта перспектива представилась нам менее соблазнительной. Вода казалась сырой и холодной, ветер прямо пронизывал.

— Ну, кто же прыгнет первый? — спросил, наконец, Гаррис.

Особой борьбы за первенство не было. Джордж, поскольку это касалось его лично, решил вопрос, удалившись в глубину лодки и надев носки. Монморенси невольно взвыл, как будто одна мысль о купанье внушала ему ужас. Гаррис сказал, что слишком уж трудно будет влезть обратно в лодку, и стал разыскивать в груди платья свои штаны.

Мне не очень хотелось отступать, хотя купанье меня тоже не прельщало. В воде могут быть коряги или водоросли, думал я. Я решил избрать средний путь: подойти к краю берега и побрызгать на себя водой. Я взял полотенце, вышел на сушу и подобрался к воде по длинной ветке дерева, которая спускалась прямо в реку.

Было очень холодно. Ветер резал, как ножом. Я подумал, что обливаться, пожалуй, не стоит, лучше вернуться в лодку и одеться. Я повернул обратно, чтобы выполнить свое намерение, но в эту минуту глупая ветка подломилась — и я вместе с полотенцем с оглушительным плеском плюхнулся в воду. Еще не успев сообразить, что случилось, я очутился посередине Темзы, и в желудке у меня был целый галлон речной воды.

— Черт возьми, старина Джей полез-таки в воду! — услышал я восклицанье Гарриса, когда, отдуваясь, всплыл на поверхность. — Я не думал, что у него хватит храбрости. А ты?

— Ну что, хорошо? — пропел Джордж.

— Прелестно, — ответил я, отплевываясь. — Вы дураки, что не выкупались. Я бы ни за что на свете не отказался от этого. Почему бы вам не попробовать? Нужно только немного решимости.

Но я не смог их уговорить.

В это утро во время одеванья случилась одна довольно забавная история. Когда я вернулся в лодку, было очень холодно, и, торопясь надеть рубашку, я нечаянно уронил ее в воду. Это меня ужасно разозлило, особенно потому, что Джордж стал смеяться. Я не находил в этом ничего смешного и сказал это Джорджу, но Джордж только громче захохотал. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так смеялся. Наконец я совсем

рассердился и высказал Джорджу, какой он сумасшедший болван и безмозглый идиот, но Джордж после этого заржал еще пуще.

И вдруг, вытаскивая рубашку из воды, я увидел, что это вовсе не моя рубашка, а рубашка Джорджа, которую я принял за свою. Тут комизм положения дошел, наконец, и до меня, и я тоже начал смеяться. Чем больше я смотрел на мокрую Джорджеву рубашку и на самого Джорджа, который покатывался со смеху, тем больше это меня забавляло, и я до того хохотал, что снова уронил рубашку в воду.

— Ты не собираешься ее вытаскивать? — спросил Джордж, давась от хохота.

Я ответил ему не сразу, такой меня разбирал смех, но, наконец, между приступами хохота мне удалось выговорить:

— Это не моя рубашка, а твоя.

Я в жизни не видел, чтобы человеческое лицо так быстро из веселого становилось мрачным.

— Что! — взвизгнул Джордж, вскакивая на ноги. — Дурак ты этакий! Почему ты не можешь быть осторожнее? Почему, черт возьми, ты не пошел одеваться на берег? Тебя нельзя пускать в лодку, вот что! Поддай багор.

Я попытался объяснить ему, как все это смешно, но он не понял. Джордж иногда плохо чувствует шутку.

Гаррис предложил сделать на завтрак яичницу-болтушку и взялся сам ее приготовить. По его словам выходило, что он большой мастер готовить яичницу-болтушку. Он часто жарил ее на пикниках и во время прогулок на яхте. Он прямо-таки прославился этим. Гаррис дал нам понять, что люди, которые хоть раз отведали его яичницы, никогда уже не ели никакой другой пищи и чахли и умирали, если не могли получить ее.

После таких разговоров у нас потекли слюнки. Мы выдали Гаррису спиртовку, сковороду и те яйца, которые еще не разбились и не залили всего содержимого корзины, и предложили ему приступить к делу.

Разбить яйца Гаррису удалось не без хлопот. Трудно было не столько их разбить, сколько попасть ими на сковороду и не вылить их на брюки или на рукава. В конце концов Гаррис все же ухитрился выпустить на сковородку с полдюжины яиц, потом он сел перед спиртовкой на корточки и начал размазывать яйца вилкой.

Нам с Джорджем со стороны казалось, что это довольно изнурительная работа. Всякий раз, когда Гаррис подходил к сковороде, он обжигался, ронял что-нибудь и начинал танцевать вокруг спиртовки, щелкая пальцами и проклиная яйца. Когда только мы с Джорджем на него ни взглядывали, он неизменно исполнял этот номер. Мы даже подумали,



что это необходимая часть его кулинарных приготовлений.

Мы не знали, что такое яичница-болтушка, и думали, что это, должно быть, кушанье краснокожих индейцев или обитателей Сандвичевых островов, изготовление которого требовало плясок и заклинаний. Монморенси один раз подошел к сковороде и сунул в нее нос. Его обожгло брызгами жира, и он тоже начал танцевать и ругаться. В общем, это была одна из самых интересных и волнующих процедур, которые я когда-либо видел. Мы с Джорджем были прямо-таки огорчены, когда она кончилась.

Результат оказался не столь удачным, как ожидал Гаррис. Плоды работы были уж очень незначительны. На сковороде было шесть штук яиц, а получилось не больше чайной ложки какой-то подгоревшей, неаппетитной бурды.

Гаррис сказал, что виновата сковорода, все вышло бы лучше, будь у нас котелок для варки рыбы и газовая плита. Мы решили не пытаться больше готовить это блюдо, пока у нас не будет вышеназванных хозяйственных принадлежностей.

Когда мы кончили завтракать, солнце уже порядком пригревало. Ветер стих, и более очаровательного утра нельзя было пожелать. Мало что вокруг нас напоминало о девятнадцатом веке. Глядя на реку, освещенную утренним солнцем, можно было подумать, что столетия, отделяющие нас от незабываемого июньского утра 1215 года, отошли в сторону и что мы, сыновья английских йоменов, в платье из домотканого сукна, с кинжалами за поясом, ждем здесь, чтобы увидеть, как пишется та потрясающая страница истории, значение которой открыл простым людям через четыреста с лишком лет Оливер Кромвель, так основательно изучивший ее.

Прекрасное летнее утро — солнечное, теплое и тихое. Но в воздухе чувствуется нарастающее волнение. Король Иоанн стоит в Данкрафт-Холле, и весь день накануне городок Стэйнс оглашался бряцанием оружия и стуком копыт по мостовой, криком командиров, свирепыми проклятиями и грубыми шутками бородатых лучников, копейщиков, алебардчиков и говорящих на чужом языке иностранных воинов с пиками.

В город въезжают группы пестро одетых рыцарей и оруженосцев, они покрыты пылью дальних дорог. И весь вечер испуганные жители должны поспешно открывать двери, чтобы впустить к себе в дом беспорядочную гурьбу солдат, которых надо накормить и разместить, да наилучшим образом, не то горе дому и всем, кто в нем живет, ибо в эти бурные времена меч — сам судья и адвокат, истец и палач, за взятое он платит тем, что оставляет в живых того, у кого берет, если, конечно, захочет.

Вечером и до самого наступления ночи на рыночной площади вокруг

костров собирается все больше людей из войска баронов, они едят, пьют и орут буйные песни, играют в кости и ссорятся. Пламя отбрасывает причудливые тени на кучи оружия и на неуклюжие фигуры самих воинов. Дети горожан подкрадываются к кострам и смотрят — им очень интересно, и крепкие деревенские девушки подвигаются поближе, чтобы перекинуться трактирной шуткой и посмеяться с лихими вояками, так непохожими на деревенских парней, которые понуро стоят в стороне с глупой усмешкой на широких растерянных лицах. А кругом в поле виднеются слабые огни отдаленных костров, здесь собрались сторонники какого-нибудь феодала, а там французские наемники вероломного Иоанна притаились, как голодные бездомные волки.

Всю ночь на каждой темной улице стояли часовые, и на каждом холме вокруг города мерцали огни сторожевых костров. Но вот ночь прошла, и над прекрасной долиной старой Темзы наступило утро великого дня, чреватого столь большими переменами для еще не рожденных поколений.

Как только занялся серый рассвет, с ближайшего из двух островов, чуть повыше того места, где мы сейчас стоим, послышался шум голосов и звуки стройки. Там ставят большой шатер, привезенный еще вчера вечером, плотники сколачивают ряды скамеек, а подмастерья из Лондона прибыли с разноцветными материями и шелками, золотой и серебряной парчой.

И вот смотрите! По дороге, что вьется вдоль берега, от Стэйнса к нам направляются, смеясь и разговаривая гортанным басом, около десяти дюжих мужчин с алебардами — это люди баронов; они остановились ярдов на сто выше нас на противоположном берегу и, опершись о свое оружие, стали ждать.

И каждый час по дороге подходят все новые группы и отряды воинов, в их шлемах и латах отражаются длинные косые лучи утреннего солнца, пока вся дорога, насколько видит глаз, не кажется плотно забитой блестящим оружием и пляшущими конями. Всадники скачут от одной группы к другой, небольшие знамена лениво трепещут на теплом ветерке, и время от времени происходит движение — ряды раздвигаются, и кто-нибудь из великих баронов, окруженный свитой оруженосцев, проезжает на боевом коне, чтобы занять свое место во главе своих крепостных и вассалов.

А на склоне Купер-Хилла, как раз напротив, собрались изумленные селяне и любопытные горожане из Стэйнса, и никто не знает толком причину всей этой суматохи, но каждый по-своему объясняет, что привлекло его сюда; некоторые утверждают, что события этого дня

послужат на благо всем, но старые люди покачивают головами, они слышали подобные сказки и раньше.

А вся река до самого Стэйнса усеяна черными точками лодок и лодочек и крохотных плетушек, обтянутых кожей, последние теперь не в моде, и они в ходу только у очень бедных людей. Через пороги, там, где много лет спустя будет построен красивый шлюз Бэл Уир, их тащили и тянули сильные гребцы, а теперь они подплывают как можно ближе, насколько у них хватает смелости, к большим крытым лодкам, которые стоят наготове, чтобы перевезти короля Иоанна к месту, где роковая Хартия ждет его подписи.<sup>[5]</sup>

Полдень. Мы вместе со всем народом терпеливо ждем уже много часов, но разносится слух, что неуловимый Иоанн опять ускользнул из рук баронов и убежал из Данкрафт-Холла вместе со своими наемниками и что скоро он займется делами поинтереснее, чем подписывать хартии о вольности своего народа.

Но нет! На этот раз его схватили в железные тиски, и напрасно он извивается и пытается ускользнуть. Вдали на дороге поднялось небольшое облачко пыли, оно приближается и растет, стук множества копыт становится громче, и от одной группы выстроившихся солдат к другой продвигается блестящая кавалькада ярко одетых феодалов и рыцарей. Впереди, и сзади, и с обеих сторон едут йомены баронов, а в середине — король Иоанн.

Он подъезжает к тому месту, где наготове стоят лодки, и великие бароны выходят из строя ему навстречу. Он приветствует их, улыбаясь и смеясь, и говорит приятные, ласковые слова, будто приехал на праздник, устроенный в его честь. Но, когда он приподнимается, чтобы слезть с коня, он бросает быстрый взгляд на своих французских наемников, выстроенных сзади, и на угрюмое войско баронов, окружившее его.

Может быть, еще не поздно? Один сильный, неожиданный удар по рядом стоящему всаднику, один призыв к его французским войскам, отчаянный натиск на готовые к отпору ряды впереди — и эти мятежные бароны еще пожалеют о том дне, когда они посмели расстроить его планы! Более смелая рука могла бы изменить ход игры даже в таком положении. Будь на его месте Ричард, чаша свободы, чего доброго, была бы выбита из рук Англии и она еще сотню лет не узнала бы, какова эта свобода на вкус!

Но сердце короля Иоанна дрогнуло перед суровыми лицами английских воинов, его рука падает на повод, он слезает с лошади и садится в первую лодку. Бароны входят следом за ним, держа руки в стальных рукавицах на рукоятях мечей, и отдается приказ к отправлению.

Медленно отплывают тяжелые разукрашенные лодки от Раннимиды. Медленно прокладывают они свой путь против течения, с глухим стуком ударяются о берег маленького острова, который отныне будет называться островом Великой Хартии. Король Иоанн сходит на берег, мы ждем, затаив дыхание, и вот громкий крик потрясает воздух, и мы знаем, что большой краеугольный камень английского храма свободы прочно лег на свое место.

## Глава двенадцатая

Генрих Восьмой и Анна Болейн. — Неудобства пребывания в одном доме с влюбленными. — Трудные времена для английского народа. — Ночные поиски красоты. — Бесприютные и бездомные. — Гаррис готовится умереть. — Появление ангела. — Влияние внезапной радости на Гарриса. — Легкий ужин. — Завтрак. — Полмира за банку горчицы. — Ужасная битва. — Мэйденхед. — Под парусами. — Трое рыбаков. — Нас осыпают проклятиями.

Я сидел на берегу, вызывая в воображении эти сцены, когда Джордж сказал, что, может быть, я достаточно отдохнул и не откажусь принять участие в мытье посуды. Возвращенный из времен славного прошлого к прозаическому настоящему со всеми его несчастьями и грехами, я спустился в лодку и вычистил сковороду палочкой и пучком травы, придав ей окончательный блеск мокрой рубахой Джорджа.

Мы отправились на остров Великой Хартии и обозрели камень, который стоит там в домике и на котором, как говорят, был подписан этот знаменитый документ. Впрочем, я не могу поручиться, что он был подписан именно там, а не на противоположном берегу, в Раннимиде, как утверждают некоторые. Сам я склонен отдать предпочтение общепринятой островной теории. Во всяком случае, будь я одним из баронов тех времен, я настоятельно убеждал бы моих товарищей переправить столь ненадежного клиента, как король Иоанн, на остров, чтобы оградить себя от всяких неожиданностей и фокусов.

Около Энкервик-Хауса, неподалеку от Мыса пикников, сохранились развалины старого монастыря. Возле этого старого монастыря Генрих Восьмой, говорят, поджидал и встречал Анну Болейн. Он встречался с нею также у замка Хивер в графстве Кент и еще где-то около Сент-Олбенса. В те времена жителям Англии было, вероятно, очень трудно найти такое местечко, где эти беспечные молодые люди не крутили бы любовь.

Случалось ли вам когда-нибудь жить в доме, где есть влюбленная парочка? Это очень мучительно. Вы хотите посидеть в гостиной и направляетесь туда. Открывая дверь, вы слышите легкий шум, словно кто-то вдруг вспомнил о неотложном деле; когда вы входите в комнату, Эмили стоит у окна и с глубоким интересом рассматривает противоположную сторону улицы, а ваш приятель Джон Эдвардс, сидя в другом углу, весь ушел в изучение фотографий чьих-то родственников.

— Ах, — говорите вы, останавливаясь у двери. — Я и не знал, что тут

кто-нибудь есть.

— Вот как? — холодно отвечает Эмили, явно давая понять, что она вам не верит.

Поболтавшись немного в комнате, вы говорите:

— Здесь очень темно. Почему вы не зажгли газ? Джон Эдвардс восклицает:

— Ах, я и не заметил!

А Эмили говорит, что папа не любит, когда днем зажигают газ.

Вы сообщаете им последние новости и высказываете свои взгляды и мнения об ирландском вопросе, но это, по-видимому, не интересует их. На любое ваше замечание они отвечают: «Ах, вот как?», «Правда?», «Неужели?», «Да?», «Не может быть!». После десяти минут разговора в таком стиле вы пробираетесь к двери и выскальзываете из комнаты. К вашему удивлению, дверь немедленно закрывается и захлопывается сама, без всякого вашего участия.

Полчаса спустя вы решаете спокойно покурить в зимнем саду. Единственный стул в этом помещении занят Эмили, а Джон Эдвардс, если можно доверять языку одежды, явно сидел на полу. Они ничего не говорят, но взгляд их выражает все, что можно высказать в цивилизованном обществе. Вы быстро ретируетесь и закрываете за собой дверь.

После этого вы боитесь сунуть нос в какую бы то ни было комнату. Побродив некоторое время вверх и вниз по лестнице, вы направляетесь в свою спальню и сидите там. Скоро это вам надоедает, вы надеваете шляпу и выходите в сад. Вы идете по дорожке и, проходя мимо беседки, заглядываете туда, и, конечно, эти идиоты уже сидят там, забившись в угол. Они тоже замечают вас и думают, что у вас есть какие-то свои гнусные причины их преследовать.

— Завели бы, что ли, особую комнату для такого времяпрепровождения, — бормочете вы. Вы бегом возвращаетесь в переднюю, хватаете зонтик и уходите.

Нечто похожее, вероятно, было и тогда, когда этот легкомысленный юноша, Генрих Восьмой, ухаживал за своей маленькой Анной. Обитатели Бэкингемшира неожиданно натыкались на них, когда они бродили вокруг Виндзора и Рэйсбери, и восклицали: «Ах, вы здесь!». Генрих, весь вспыхнув, отвечал: «Да, я приехал, чтобы повидаться с одним человеком», а Анна говорила: «Как я рада вас видеть! Вот забавно! Я только что встретила на дороге мистера Генриха Восьмого, и он идет в ту же сторону, что и я».

И бэкингемширцы уходили, говоря про себя: «Лучше убраться отсюда,

пока они здесь целуются и милуются. Поедем в Кент».

Они ехали в Кент, и первое, что они видели в Кенте, были Генрих с Анной, которые слонялись вокруг замка Хивер.

— Черт бы их побрал, — говорили бэкингемширцы. — Давайте-ка уедем. Это, наконец, невыносимо. Поедем в Сент-Олбенс. Там тихо и спокойно.

Они приезжали в Сент-Олбенс, и, разумеется, эта несчастная парочка уже была там и целовалась под стенами аббатства. И тогда эти люди уходили прочь и поступали в пираты на все время до окончания свадебных торжеств.

Участок реки от Мыса пикников до старого Виндзорского шлюза очень красив. Тенистая дорога, застроенная хорошенькими домиками, тянется вдоль берега вплоть до гостиницы «Ауслейские колокола». Эта гостиница очень живописна, как и большинство прибрежных гостиниц, и там можно выпить стакан превосходного эля. Так, по крайней мере, говорит Гаррис, а в этом вопросе на мнение Гарриса можно положиться. Старый Виндзор — в своем роде знаменитое место. У Эдуарда Исповедника был здесь дворец, и именно здесь славный граф Годвин был обвинен тогдашними судьями в убийстве брата короля. Граф Годвин отломил кусок хлеба и взял его в руку.

— Если я виновен, — сказал граф, — пусть я подавлюсь этим хлебом.

И он положил хлеб в рот и подавился — и умер.

За старым Виндзором река не очень интересна и снова становится красивой, только когда вы приближаетесь к Бовени. Мы с Джорджем провели лодку бечевой мимо Домашнего парка, который тянется по правому берегу от моста Альберта до моста Виктории. Мы проходили по Дэтчету, и Джордж спросил, помню ли я нашу первую прогулку по реке, когда мы высадились в Дэтчете в десять часов вечера и нам хотелось спать.

Я ответил, что помню. Такое не скоро забывается!

Дело было в субботу, в августе. Мы, то есть наша троица, устали и проголодались. Добравшись до Дэтчета, мы взяли корзину, оба саквояжа, пледы, пальто и другие вещи и отправились на поиски логовища. Нам попалась на пути очень милая маленькая гостиница с крылечком, увитым ползучими розами. Но там не было жимолости, а мне почему-то очень хотелось жимолости, и я сказал:

— Не стоит заходить сюда. Пойдем дальше и посмотрим, нет ли где-нибудь гостиницы с жимолостью.

Мы пошли дальше и вскоре увидели еще одну гостиницу. Это тоже была очень хорошая гостиница, и на ней даже вилась жимолость — за

углом, сбоку, но Гаррису не понравилось выражение лица мужчины, который стоял, прислонившись к входной двери. По мнению Гарриса, это был неприятный человек, и к тому же на нем были некрасивые сапоги. Поэтому мы отправились дальше. Мы прошли порядочное расстояние и не увидели ни одной гостиницы. Наконец нам повстречался какой-то прохожий, и мы попросили его указать нам хороший отель.

— Да вы же оставили их позади, — сказал этот человек. — Поворачивайте и идите назад — вы придете к «Оленю».

— Мы там были, и он нам не понравился, — сказали мы. — Там нет жимолости.

— Ну тогда, — сказал он, — есть еще «Помещичий дом» — он как раз напротив. Вы туда заходили?

Гаррис ответил, что туда он не хочет, — ему не понравился вид человека, который стоял у дверей. Не понравился цвет его волос и сапоги.

— Ну, не знаю тогда, что вам и делать, — сказал прохожий. — Здесь больше нет гостиниц.

— Ни одной? — воскликнул Гаррис.

— Ни одной, — ответил прохожий.

— Как же нам быть? — вскричал Гаррис.

Тут взял слово Джордж. Он сказал, что мы с Гаррисом можем, если нам угодно, распорядиться, чтобы для нас построили новую гостиницу и наняли персонал. Что касается его, то он возвращается в «Олень».

Даже величайшие умы никогда и ни в чем не достигают своего идеала. Мы с Гаррисом повздыхали о суетности всех земных желаний и последовали за Джорджем.

Мы внесли наши пожитки в «Олень» и сложили их в вестибюле.

Хозяин подошел к нам и сказал:

— Добрый вечер, джентльмены.

— Добрый вечер, — сказал Джордж. — Будьте так добры, нам нужны три кровати.

— Очень сожалею, сэр, — ответил хозяин, — но боюсь, что мы не можем это устроить.

— Ну что же, не беда, — сказал Джордж. — Хватит и двух. Двое из нас могут спать в одной постели, не так ли? — продолжал он, обращаясь ко мне и к Гаррису.

— О, конечно, — ответил Гаррис. Он думал, что мы с Джорджем можем свободно проспать в одной постели.

— Очень сожалею, сэр, — повторил хозяин. — У нас нет ни одной свободной кровати. Мы уже и так укладываем по два, а то и по три



человека на одну постель.

Это несколько обескуражило нас.

Но Гаррис, старый путешественник, оказался на высоте положения. Он весело засмеялся и сказал:

— Ну что же, ничего не поделаешь. Придется пойти на неудобства. Устройте нас в бильярдной.

— Очень сожалею, сэр, но трое джентльменов уже спят на бильярде и двое в кафе. Никак не могу принять вас на ночь.

Мы взяли свои вещи и пошли в «Помещичий дом». Это была очень славная гостиница. Я сказал, что мне, наверное, понравится в ней больше, чем в «Олене»; Гаррис воскликнул: «О да, все будет прекрасно, а на человека с рыжими волосами можно не смотреть. К тому же бедняга ведь не виноват, что он рыжий».

Гаррис так разумно и кротко говорил об этом!

В «Помещичьем доме» нас и слушать не стали. Хозяйка встретила нас на крыльце и приветствовала заявлением, что мы четырнадцатая компания за последние полтора часа, которой ей приходится отказать. Наши робкие намеки на конюшню, бильярдную или погреб были встречены презрительным смехом. Все эти уютные помещения уже давно были захвачены.

Не знает ли она какой-нибудь дом, где можно найти ночлег?

— Если вы согласны примириться с некоторыми неудобствами, — имейте в виду, я вам этого не рекомендую, — то в полумиле отсюда по Итонской дороге есть одна маленькая пивная...

Не слушая дальше, мы подхватили нашу корзину, саквояжи, пальто, пледы и свертки и помчались. Бежать пришлось скорее милую, чем полмили, но наконец мы достигли цели и, задыхаясь, влетели в пивную.

Хозяева пивной были грубы. Они просто-напросто высмеяли нас. В доме имелось всего три постели, и в них уже спало семь холостых джентльменов и три супружеских четы. Какой-то сострадательный лодочник, находившийся случайно в пивной, высказал, однако, мнение, что нам стоит толкнуться к бакалейщику рядом с «Оленем», и мы вернулись назад.

У бакалейщика все было полно. Одна старушка, которую мы встретили в его лавке, любезно предложила нам пройти с ней четверть мили, к ее знакомой, которая иногда сдает мужчинам комнаты.

Старушка шла очень медленно, и, чтобы добраться до ее знакомой, нам потребовалось минут двадцать. В пути эта женщина развлекала нас рассказами о том, как и когда у нее болит спина.

Комнаты ее знакомой оказались сданы. От нее нас направили в дом № 27. Дом № 27 был полон, и нас послали в № 32. № 32 тоже был полон.

Тогда мы вернулись на большую дорогу. Гаррис сел на корзину с провизией и сказал, что дальше он не пойдет. Здесь, кажется, тихо и спокойно, и ему бы хотелось тут умереть. Он попросил меня и Джорджа передать поцелуй его матери и сказать всем его родственникам, что он простил их и умер счастливым.

В этот момент появился ангел в образе маленького мальчика (более удачно ангел не может замаскироваться). В одной руке у него был бидон с пивом, а в другой — какой-то предмет, привязанный к веревочке, которым он ударял о каждый встречный камень и затем снова дергал его вверх, чем вызывал исключительно неприятный жалобный звук.

Мы спросили этого посланца небес, каковым он оказался, не знает ли он уединенного дома, обитатели которого слабы и немногочисленны (старым дамам и паралитикам предпочтение) и могут под влиянием страха отдать на одну ночь свои постели троим готовым на все мужчинам; а если не знает, то не укажет ли нам какой-нибудь пустой хлев, или заброшенную печь для обжига извести, или что-нибудь в этом роде. Мальчик не знал ни одного такого места, по крайней мере поблизости, но сказал, что мы можем пойти с ним, — у его матери есть свободная комната.

Мы тут же, при свете луны, бросились ему на шею и осыпали его благословениями. Это зрелище было бы прекрасно, если бы мальчик не оказался до того подавлен нашим волнением, что не мог выдержать и сел на землю, увлекая нас за собой. Гаррис от радости почувствовал себя дурно и, схватив бидон мальчика, наполовину осушил его. После этого он пришел в себя и пустился бежать, предоставив нам с Джорджем нести вещи.

В маленьком коттедже, где жил мальчик, было четыре комнаты, и его мать — добрая душа — дала нам на ужин горячей грудинки, которую мы без остатка съели всю целиком (пять фунтов), и сверх того — пирога с вареньем и два чайника чаю, после чего мы пошли спать. В спальне стояло две кровати: складная кровать длиной в два фута и шесть дюймов — на ней спали мы с Джорджем, привязав себя друг к другу простыней, чтобы не упасть, и кровать мальчика, которую получил в полное владение Гаррис. Утром оказалось, что из нее на два фута торчат его голые ноги, и мы с Джорджем, умываясь, использовали их как вешалку для полотенца.

В следующий наш приезд в Дэтчет мы уже не были так привередливы по части гостиниц.

Но вернемся к нашей теперешней прогулке. Ничего интересного не произошло, и мы продолжали усердно тянуть лодку. Немного ниже

Обезьяньего острова мы подвели ее к берегу и позавтракали. Мы вынули холодное мясо и увидели, что забыли взять с собой горчицу. Не помню, чтобы мне когда-нибудь в жизни, до или после этого, так отчаянно хотелось горчицы.

Вообще-то я не любитель горчицы и очень редко ее употребляю, но в тот день я бы отдал за нее полмира.

Не знаю, сколько это в точности составляет — полмира, но всякий, кто бы принес мне в эту минуту ложку горчицы, мог получить эти полмира целиком.

Я готов на любое безрассудство, когда хочу чего-нибудь и не могу раздобыть.

Гаррис сказал, что он тоже отдал бы за горчицу полмира. Прибыльный был бы день для человека, который появился бы тогда в этом месте с банкой горчицы. Он был бы обеспечен мирами на всю жизнь.

Впрочем, мне кажется, что и я и Гаррис, получив горчицу, попытались бы отказаться от этой сделки. Такие сумасбродные предложения делаешь сгоряча, но потом, подумав, соображаешь, до какой степени они нелепы и не соответствуют ценности нужного предмета. Я слышал, как однажды в Швейцарии один человек, восходивший на гору, сказал, что отдал бы полмира за стакан пива. А когда этот человек дошел до маленькой избушки, где держали пиво, он поднял страшный скандал из-за того, что с него потребовали пять франков за бутылку мартовского. Он сказал, что это грабеж, и написал об этом в «Таймс».

Отсутствие горчицы действовало на нас угнетающе, и мы ели говядину в полном молчании. Жизнь казалась пустой и неинтересной. Мы вспоминали дни счастливого детства и вздыхали. Но, перейдя к яблочному пирогу, мы несколько воспрянули духом, а когда Джордж вытащил со дна корзины банку ананасовых консервов и выкатил ее на середину лодки, нам начало казаться, что жить все же стоит.

Мы все трое любим ананасы. Мы рассматривали рисунок на банке, мы думали о сладком соке, мы обменивались улыбками. А Гаррис даже вытащил ложку.

Потом мы начали искать нож, чтобы вскрыть банку. Мы перерыли все содержимое корзины, вывернули чемоданы, подняли доски на дне лодки. Мы вынесли все наши вещи на берег и перетрясли их. Консервного ножа нигде не было.

Тогда Гаррис попробовал вскрыть банку перочинным ножом, но только сломал нож и сильно порезался. Джордж пустил в ход ножницы; ножницы выскочили у него из рук и чуть не выкололи ему глаза. Пока они

перевязывали свои раны, я попробовал пробить в этой банке дырку острым концом багра, но багор соскользнул, и я оказался между лодкой и берегом, в грязной воде. А банка, невредимая, покатила и разбила чайную чашку.

Тут мы все разъярились. Мы снесли эту банку на берег, Гаррис пошел в поле и притащил большой острый камень, а я вернулся в лодку и приволок мачту. Джордж придерживал банку, Гаррис приложил к ней острый конец камня, а я взял мачту, поднял ее высоко в воздух и, собравшись с силами, опустил ее.

Джорджу в тот день спасла жизнь его соломенная шляпа. Он до сих пор хранит эту шляпу (или, вернее, то, что от нее осталось). В зимние вечера, когда трубки раскурены и друзья рассказывают всякие небылицы об опасностях, которые им пришлось пережить, Джордж приносит свою шляпу, пускает ее по рукам и еще раз рассказывает эту волнующую повесть, неизменно украшая ее новыми преувеличениями.

Гаррис отделался легкой раной.

После этого я сам принялся за банку и до тех пор колотил ее мачтой, пока не выбился из сил и не пришел в полное уныние. Тогда меня сменил Гаррис.

Мы расплющили банку, мы превратили ее в куб, мы придавали ей всевозможные очертания, встречающиеся в геометрии, но не могли пробить в ней дыру. Наконец за банку взялся Джордж, под его ударами она приняла такую дикую, нелепую, чудовищно уродливую форму, что Джордж испугался и отбросил мачту. Тогда мы все трое сели в кружок на траву и стали смотреть на банку. На верхушке ее образовалась длинная впадина, которая походила на насмешливую улыбку. Она привела нас в такое бешенство, что Гаррис бросился к банке, схватил ее и кинул на середину реки. Пока она тонула, мы осыпали ее проклятиями, потом сели в лодку и, взявшись за весла, гребли без отдыха до самого Мэйденхеда.

Мэйденхед слишком фешенебельное место, чтобы быть приятным. Это убежище речных франтов и их разряженных спутниц, город шикарных отелей, посещаемых преимущественно светскими щеголями и балетными танцовщицами. Это кухня ведьм, из которой выходят злые духи реки — паровые баркасы. У всякого герцога из «Лондонской газеты» есть «домик» в Мэйденхеде, а героини трехтомных романов всегда обедают там, когда отправляются кутить с чужими мужьями.

Мы быстро проехали мимо Мэйденхеда, а потом сбавили ход и не торопясь проплыли замечательный участок реки между Боултерским и Кукхэмским шлюзами. Кливлендский лес был одет в свой прекрасный весенний убор и склонялся к реке сплошным рядом зеленых ветвей

всевозможных оттенков. В своей ничем не омраченной прелести это, пожалуй, одно из самых красивых мест на реке, и нам не хотелось уводить оттуда нашу лодку и расставаться с его мирной тишиной.

Мы остановились в заводи, чуть не доходя Кукхэма, и напились чаю. Когда мы миновали шлюз, был уже вечер. Поднялся довольно свежий ветерок — к нашему удивлению, попутный. Обычно на реке ветер всегда бывает встречный, в какую бы сторону вы ни шли. Он дует вам в лицо утром, когда вы выезжаете прогуляться на целый день, и вы долго гребете, думая, как легко будет идти обратно под парусом. Но потом, после чаю, ветер круто меняет направление, и вам приходится всю дорогу грести против него.

Если вы вообще забыли взять с собой парус, ветер неизменно благоприятен вам в обе стороны. Что делать! Земная жизнь ведь всего лишь испытание, и, так же как искрам суждено лететь вверх, так и человек обречен на невзгоды.

Но в этот вечер, по-видимому, произошла ошибка, и ветер дул нам в спину, а не в лицо. Боясьдохнуть, мы быстро подняли парус, прежде чем ошибка была замечена. Потом мы в задумчивых позах разлеглись в лодке, парус надулся, поворчал на мачту, и лодка полетела вперед.

Я правил рулем.

Я не знаю ничего более увлекательного, чем идти под парусом. Это наибольшее приближение к полету, по крайней мере наяву. Быстрые крылья ветра как будто уносят вас вперед, неведомо куда. Вы больше не похожи на слабое, неуклюжее создание, медленно извивающееся на земле, — вы слиты с природой. Ваше сердце бьется в лад с ее сердцем, ее прекрасные руки обнимают вас и прижимают к груди. Духом вы заодно с нею, члены ваши легки. Голоса атмосферы звучат для вас. Земля кажется маленькой и далекой. Облака над головой — ваши братья, и вы протягиваете к ним руки.

Мы были на воде одни. Лишь в отдалении посреди реки виднелась рыбацья плоскодонка, в которой сидело трое рыбаков. Мы скользили вдоль лесистых берегов, никто не произносил ни слова.

Я правил рулем.

Приближаясь к плоскодонке, мы увидели, что эти трое рыбаков — пожилые, серьезные на вид люди. Они сидели на стульях и внимательно наблюдали за своими удочками. Багряный закат озарял воды реки мистическим светом, зажигая огнем величавые деревья и озаряя золотым блеском гряды облаков. Это был волшебный час восторженной надежды и грусти. Маленький парус вздымался к пурпурному небу; лучи заката окутывали мир многоцветными тенями, а позади нас кралась ночь.

Казалось, мы — рыцари из старой легенды и плывем по таинственному озеру в неведомое царство сумерек, в великую страну заката.

Однако мы не попали в царство сумерек, но со всего размаху врезались в плоскодонку, с которой удили эти три старика. Мы не сразу сообразили, что случилось, так как парус мешал нам видеть. Но по выражениям, огласившим вечерний воздух, мы поняли, что пришли в соприкосновение с людьми и что эти люди раздражены и сердиты.

Гаррис опустил парус, и мы увидели, что произошло. Мы сбили этих трех джентльменов со стульев, и они кучей лежали на дне лодки, медленно и мучительно стараясь разъединиться и стряхивая с себя рыбу. При этом они ругали нас не обычными безобидными ругательствами, а длинными, тщательно продуманными, всеобъемлющими проклятиями, которые охватывали весь наш жизненный путь, уводили в отдаленное будущее и затрагивали всех наших родных и все, что было связано с нами. Это были добротные, основательные ругательства.

Гаррис сказал рыбакам, что они должны быть благодарны за маленькое развлечение после целого дня рыбной ловли. Нас смущает и огорчает, прибавил он, что люди в их возрасте так поддаются дурному расположений духа. Но это не помогло.

Джордж сказал, что теперь он будет править. Он заявил, что мозги вроде моих не могут всецело отдаться управлению рулем, уж лучше, пока мы еще не утонули, предоставить наблюдение за лодкой простому смертному. И он взялся за веревки и довел нас до Марло.

В Марло мы оставили лодку у моста, а сами пошли ночевать в гостиницу «Корона».

## Глава тринадцатая

Марло. — Бишемское аббатство. — Монахи из Медменхэма. — Монморенси намеревается убить старого кота, но потом решает оставить его в живых. — Постыдное поведение фокстерьера в универсальном магазине. — Отъезд из Марло. — Внушительная процессия. — Паровые баркасы. — Полезные советы: как им досадить и помешать. — Мы отказываемся выпить реку. — Спокойный пес. — Странное исчезновение Гарриса с пирогом.

Марло — одно из самых красивых прибрежных местечек, какие я знаю. Это оживленный, хлопотливый городок; в общем, он, правда, не слишком живописен, но в нем можно найти много причудливых уголков — уцелевшие своды разрушенного моста Времени, помогающие нашему воображению перенестись назад в те дни, когда господином поместья Марло был Эльгар Саксонский. Потом Вильгельм Завоеватель захватил его и передал королеве Матильде, а позже оно перешло к графам Уорвикским и к многоопытному лорду Пэджету, советнику четырех королей.

Если после катания на лодке вы любите пройтись, то в окрестностях Марло вы найдете прелестные места, но и самая река здесь всего лучше. Участок ее до Кукхэма, за лесом Куэрри и лугами, очень красив. Милый старый лес! На твоих крутых тропинках и прогалинах до сей поры витает так много воспоминаний о солнечных летних днях! Твои тенистые просеки наполнены призраками смеющихся лиц, в твоих шелестящих листьях так нежно звучат голоса прошлого.

От Марло до Соннинга река, пожалуй, еще красивей. Величественное старинное Бишемское аббатство, которое служило когда-то приютом Анне Клевской и королеве Елизавете и в чьих каменных стенах раздавались возгласы рыцарей-храмовников, высится на правом берегу, ровно полумилей выше Марлоуского моста. В Бишемском аббатстве много мелодраматического. Там есть спальня, обтянутая коврами, и потайная комната, скрытая в толще стены. Призрак леди Холли, которая до смерти забила своего маленького сына, все еще бродит там, стараясь отмыть в призрачной чаше свои призрачные руки.

Здесь покоится Уорвик — тот, что возвел на престол столько королей, а теперь не заботится уже больше о таких пустяках, как земные цари и земные царства; и Солсбери, хорошо послуживший при Пуатье. Невдалеке от аббатства, у самого берега реки, стоит Бишемская церковь, и если вообще есть смысл осматривать какие-нибудь гробницы, то это гробницы и памятники в Бишемской церкви. Именно здесь, плавая в своей лодке под

буками Бишема, Шелли, который жил тогда в Марло (его дом и теперь еще можно видеть на Западной улице), написал «Восстание ислама».

У Хэрлейской плотины, несколько выше по течению, я бы мог, кажется, прожить месяц и все же не насладился бы досыта красотой пейзажа. Деревня Хэрлей, в пяти минутах ходьбы от шлюза, — одно из самых старинных местечек на реке и существует, выражаясь языком тех времен, «со дней короля Соберта и короля Оффы». Сейчас же за плотиной (вверх по реке) находится Датское поле, где вторгшиеся в Британию датчане стояли лагерем во время похода на Глостершир; а еще подальше, укрытые в красивой излучине реки, высятся остатки Медменхэмского аббатства.

Знаменитые медменхэмские монахи составили братство, или, как его обычно называли, «Адский клуб», девизом которого было: «Поступайте как вам угодно». Это предложение еще красуется на его разрушенных воротах. За много лет до основания этого мнимого аббатства, населенного толпой нечестивых шутников, на том же самом месте стоял более суровых нравов монастырь, монахи которого несколько отличались от кутил, пришедших через пятьсот лет им на смену.

Монахи-цистерциане, основавшие здесь аббатство в тринадцатом веке, носили вместо одежды грубые балахоны с клобуками и не ели ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Спали они на соломе и в полночь вставали, чтобы служить обедню. Они проводили весь день в трудах, чтении и молитве. Всю жизнь их осеняло мертвое молчание, ибо никто из них никогда не говорил.

Мрачное это было братство, и мрачную оно вело жизнь в этом прелестном местечке, которое Господь создал таким веселым. Странно, что голоса окружавшей их природы — нежное пение струй, шепот речной травы, музыка шелестящего ветра — не внушили этим монахам более правильного взгляда на жизнь. Целыми днями они в молчании ожидали голоса с неба, а этот голос весь день и в торжественной тиши ночи говорил с ними тысячами звуков, но они его не слышали.

От Медменхэма до прелестного Хэмблдонского шлюза река полна мирной красоты, но за Гринлендом — малоинтересной резиденцией моего газетчика (этого спокойного, непритязательного старичка можно часто видеть здесь в летние месяцы энергично работающим веслами или добродушно беседующим с каким-нибудь старым сторожем шлюза) — и до конца Хэнли она несколько пустынна и скучна.

Утром в понедельник в Марло мы встали довольно рано и перед завтраком пошли выкупаться. На обратном пути Монморенси сваял страшного дурака. Единственное, в чем мы с Монморенси не сходимся во



мнениях, — это кошки. Я люблю кошек, Монморенси их не любит.

Когда я вижу кошку, я говорю: «Киса, бедная!» — и нагибаюсь и щекочу ее за ушами, а кошка поднимает хвост, твердый, как железо, выгибает спину и трется носом о мои брюки. Все полно мира и спокойствия. Когда Монморенси видит кошку, об этом узнает вся улица, и количества ругательств, которые расточаются здесь за десять секунд, любому порядочному человеку хватило бы при бережном расходовании на всю жизнь.

Я не порицаю моего пса (довольствуясь обычно тем, что бросаю в него камни и щелкаю по голове). Я считаю, что это у него в природе. У фокстерьеров примерно в четыре раза больше врожденной греховности, чем у других собак, и нам, христианам, понадобится немало терпения и труда, чтобы сколько-нибудь заметно изменить хулиганскую психологию фокстерьеров.

Помню, однажды я находился в вестибюле хэймаркетского универсального магазина. Меня окружало множество собак, ожидавших возвращения своих хозяев, которые делали покупки. Там сидел мастиф, два-три колли, сенбернар, несколько легавых и ньюфаундлендов, овчарка, французский пудель с множеством волос вокруг головы, но потертый в середине, бульдог, несколько левреток величиной с крысу и пара йоркширских дворняжек.

Они сидели мирные, терпеливые, задумчивые. Торжественная тишина царила в вестибюле. Его наполняла атмосфера покоя, смирения и тихой грусти.

И тут вошла красивая молодая дама, ведя за собой маленького, кроткого на вид фокстерьера, и оставила его на цепи между бульдогом и пуделем. Он сел и некоторое время осматривался. Потом он поднял глаза к потолку и, судя по выражению его морды, стал думать о своей матери. Потом он зевнул. Потом оглядел других собак, молчаливых, важных, полных достоинства. Он посмотрел на бульдога, который безмятежно спал справа от него. Он взглянул на пуделя, сидевшего надменно выпрямившись слева, и вдруг, без всякого предупреждения, без всякого видимого повода, он укусил этого пуделя за ближайшую переднюю лапу, и вопль страдания огласил тихий полумрак вестибюля.

Результат этого первого опыта показался фокстерьеру весьма удовлетворительным, и он решил действовать дальше и всех расшевелить. Перескочив через пуделя, он энергично атаковал одного из колли. Колли проснулся, и немедленно завязал яростный и шумный бой с пуделями. Наш фоксик вернулся на свое место и, схватив бульдога за ухо, попробовал

свалить его с ног. Тогда бульдог, исключительно нелицеприятное животное, набросился на всех, кого мог достать, включая швейцара, что дало возможность маленькому терьеру без помехи наслаждаться дракой со столь же расположенной к этому дворняжкой.

Всякий, кто знает собачью натуру, легко догадается, что к этому времени все собаки в вестибюле дрались с таким увлечением, словно от исхода боя зависело спасение их жизни и имущества. Большие собаки дрались друг с другом, маленькие дрались между собой и в свободную минуту кусали больших за ноги.

Вестибюль превратился в сущий ад, и шум был страшный. Снаружи собралась толпа, все спрашивали, не митинг ли здесь, а если нет, то кого тут убили и почему. Пришли какие-то люди с шестами и веревками и пробовали растащить собак, послали за полицией.

В самый разгар потасовки вернулась милая молодая дама, подхватила своего дорогого фоксика на руки (тот вывел дворняжку из строя по крайней мере на месяц, а сам теперь прикидывался новорожденным ягненок), осыпала его поцелуями и спросила, не убит ли он и что ему сделали эти гадкие, грубые собаки. А фокс притаился у нее на груди и смотрел на нее с таким видом, словно хотел сказать: «Как я рад, что вы пришли и унесете меня подальше от этого возмутительного зрелища!».

Молодая дама сказала, что хозяева магазина не имеют права допускать больших и злых собак в такие места, где находятся собаки порядочных людей, и что она очень подумывает подать кое на кого в суд.

Такова уж природа фокстерьеров, поэтому я не браню Монморенси за его склонность ссориться с кошками. Но в то утро он сам пожалел, что не вел себя скромнее.

Как я уже говорил, мы возвращались с купанья, когда на главной улице из одной подворотни впереди нас выскочила кошка и побежала по мостовой. Монморенси издал радостный крик — крик сурового воина, который увидел, что его противник отдан судьбой ему в руки, — такой крик, должно быть, испустил Кромвель, когда шотландцы спустились с горы, — и кинулся следом за своей добычей. Жертвой Монморенси был большой черный кот. Я никогда не видел такого огромного и непрезентабельного кота. У него не хватало половины хвоста, одного уха и значительной части носа. Это было длинное жилистое животное. Вид у него был спокойный и самодовольный.

Монморенси мчался за этим бедным котом со скоростью двадцати миль в час, но кот не торопился: ему, видимо, и в голову не приходило, что его жизнь в опасности. Он трусил мелкой рысцой, пока его возможный

убийца не оказался на расстоянии одного ярда. Тогда он обернулся и сел посреди дороги, глядя на Монморенси с кротким любопытством, словно хотел сказать: «В чем дело? Вы ко мне?».

У Монморенси нет недостатка в храбрости. Но в поведении этого кота было нечто такое, от чего остыла бы смелость самого бесстрашного пса. Монморенси сразу остановился и тоже посмотрел на кота.

Оба молчали, но легко было себе представить, что между ними происходит такой разговор:

**Кот.** Вам что-нибудь нужно?

**Монморенси.** Н-нет... благодарю вас.

**Кот.** А вы, знаете, не стесняйтесь, говорите прямо.

**Монморенси** (*отступая по главной улице*). О нет, что вы... Конечно... Не беспокойтесь... Я... боюсь, что я ошибся. Мне показалось, что мы знакомы... Простите за беспокойство.

**Кот.** Не за что! Рад служить! Вам действительно ничего не нужно?

**Монморенси** (*продолжая отступать*). Нет, нет... Спасибо, нет... вы очень любезны. Всего хорошего.

**Кот.** Всего хорошего.

После этого кот поднялся и пошел дальше, а Монморенси тщательно спрятал то, что он называет своим хвостом, в соответствующую выемку, вернулся к нам и занял незаметную позицию в тылу.

И теперь еще, если вы скажете: «Кошка!» — он вздрагивает и жалобно взглядывает на вас, будто говоря: «Пожалуйста, не надо».

После завтрака мы сделали покупки и наполнили лодку провизией на три дня. Джордж сказал, что надо взять с собой овощей. Это вредно для здоровья — не есть овощей. Он заявил, что их нетрудно варить и что он берет это на себя. Поэтому мы купили десять фунтов картошки, бушель гороху и несколько кочанов капусты. В гостинице мы достали мясной пирог, несколько пирогов с крыжовником и баранью ногу; за фруктами, печеньем, хлебом, маслом, вареньем, грудинкой, яйцами и прочим нам пришлось ходить по городу.

Отбытие из Марло я рассматриваю как одно из наших высших достижений. Не будучи демонстративным, оно было в то же время полно достоинства и внушительно. Заходя в какую-нибудь лавку, мы везде объясняли, что забираем покупку немедленно. И никаких: «Хорошо, сэр! Я отошлю их сейчас же. Мальчик будет на месте раньше вас, сэр!» — после чего приходится топтаться на пристани, дважды возвращаться обратно в магазин и скандалить. Мы ждали, пока уложат корзины, и захватывали рассыльных с собой.

Применяя эту систему, мы обошли порядочное количество лавок, в результате, когда мы закончили, за нами следовала такая замечательная коллекция рассыльных с корзинками, какой только можно пожелать. Наше последнее шествие по главной улице к реке являло, должно быть, внушительное зрелище, уже давно не виданное в городе Марло.

Порядок процессии был следующий:

Монморенси с палкой во рту.

Две подозрительные дворняги, друзья Монморенси.

Джордж, нагруженный пальто и пледами, с короткой трубкой в зубах.

Гаррис, пытающийся идти с непринужденной грацией, неся в одной руке пузатый чемодан, а в другой — бутылку с лимонным соком.

Мальчик от зеленщика и мальчик от булочника, с корзинами.

Коридорный из гостиницы, с большой корзиной.

Мальчик от кондитера, с корзинкой.

Мальчик от бакалейщика, с корзинкой.

Мальчик от торговца сыром, с корзинкой.

Случайный прохожий, с мешком в руке.

Друг-приятель случайного прохожего, с руками в карманах и трубкой во рту.

Мальчик от фруктовщика, с корзиной.

Я сам, с тремя шляпами и парой башмаков и с таким видом, будто я их не замечаю.

Шесть мальчишек и четыре приبلудных пса.

Когда мы пришли на пристань, лодочник сказал:

— Позвольте, сэр, у вас был баркас или крытый бот?

Услышав, что у нас четырехвесельная лодка, он был, видимо, удивлен.

В это утро у нас было немало хлопот с паровыми баркасами. Дело было как раз перед хэнлейскими гонками, и баркасы сновали по реке в великом множестве — иные в одиночку, другие с крытыми лодками на буксире. Я ненавижу паровые баркасы, я думаю, их ненавидит всякий, кому приходилось грести. Каждый раз, как я вижу паровой баркас, я чувствую, что мне хочется заманить его в пустынное место и там, в тиши и уединении, задушить.

В паровом баркасе есть что-то наглое и самоуверенное, отчего во мне просыпаются самые дурные инстинкты, и я начинаю жалеть о добром, старом времени, когда можно было высказывать всякому свое мнение о нем на языке топора и лука со стрелами. Уже одно выражение лица человека, который стоит на корме, засунув руки в карманы, и курит сигару, само по себе служит достаточным поводом для нарушения общественного

спокойствия, а властный свисток, повелевающий вам убираться с дороги, обеспечил бы, я уверен, справедливый приговор за «законное человекоубийство» при любом составе присяжных из жителей побережья.

А им пришлось-таки посвистеть, чтобы заставить нас убираться с дороги. Не желая прослыть хвастуном, я могу честно сказать, что наша лодочка за эту неделю причинила встречным баркасам больше неприятностей, хлопот и задержек, чем все остальные суда на реке, вместе взятые.

«Баркас идет!» — кричит кто-нибудь из нас, завидя вдали врага, и в одно мгновение все готово к встрече. Я сажусь за руль, а Гаррис с Джорджем усаживаются рядом со мной, тоже спиной к баркасу, и лодка медленно выплывает на середину реки.

Баркас, свистя, надвигается, а мы плывем. На расстоянии примерно в сотню ярдов он начинает свистеть как бешеный и все пассажиры, перегнувшись через борт, кричат на нас, но мы их не слышим. Гаррис рассказывает нам какой-нибудь случай, происшедший с его матерью, и мы с Джорджем жадно ловим каждое его слово. Тогда баркас испускает последний вопль, от которого чуть не лопаются котел, дает задний ход и контрпар, делает полный поворот и садится на мель. Все, кто есть на борту, сбегаются на нос, публика на берегу кричит нам что-то, другие лодки останавливаются и впутываются в это дело, так что вся река на несколько миль в обе стороны приходит в неистовое возбуждение. Тут Гаррис прерывает на самом интересном месте свой рассказ, с кротким удивлением поднимает глаза и говорит Джорджу:

— Смотри-ка, Джордж, кажется, там паровой баркас.

А Джордж отвечает:

— Да, знаешь, я тоже как будто что-то слышу.

После этого мы начинаем волноваться и нервничать и не знаем, как убрать лодку с дороги. Люди на баркасе толпятся у борта и учат нас:

— Гребите правым, идиот вы этакий! Левым — назад! Нет, нет, не вы, тот, другой... Оставьте руль в покое, черт побери! Ну, теперь обоими сразу! Да не так! Ах, вы...

Потом они спускают лодку и приходят нам на помощь. После пятнадцатиминутных усилий нас начисто убирают с дороги, и баркас получает возможность продолжать путь. Мы рассыпаемся в благодарностях и просим взять нас на буксир. Но они не соглашаются.

Мы нашли и другой способ раздражать аристократические паровые баркасы: мы делаем вид, что принимаем их за плавучий ресторан, и спрашиваем, от кого они — от господ Кьюбит или от Бермондсейских

Добрых Рыцарей, и просим одолжить нам кастрюлю.

Старые дамы, не привычные к реке, очень боятся паровых баркасов. Помню, я однажды плыл из Стэйнса в Виндзор (этот участок реки особенно богат подобного рода механическими чудовищами) с компанией, где были три такие дамы. Это было очень интересно. При первом появлении баркаса дамы настоятельно пожелали выйти на берег и посидеть на скамейке, пока баркас снова не скроется из виду. Они сказали, что им очень жаль, но мысль об их семействах не позволяет им рисковать собой.

В Хэмблдоне оказалось, что у нас нет воды. Мы взяли кувшин и отправились за водой к сторожу при шлюзе. Джордж был нашим парламентаром. Он пустил в ход самую вкрадчивую улыбку и спросил:

— Скажите, не могли бы вы выделить нам немного воды?

— Пожалуйста, — ответил старик. — Возьмите, сколько вам нужно, а остальное оставьте.

— Очень вам благодарен, — пробормотал Джордж, осматриваясь. — Где... где вы ее держите?

— Она всегда на одном и том же месте, молодой человек, — последовал неторопливый ответ. — Как раз сзади вас.

— Я ее не вижу, — сказал Джордж, оборачиваясь.

— Где же у вас глаза, черт возьми? — сказал сторож, повертывая Джорджа кругом и широким жестом указывая на реку. — Вон сколько воды, а вы не видите?

— А-а! — воскликнул Джордж, поняв, в чем дело. — Но не можем же мы выпить всю реку!

— Нет, но часть ее — можете, — возразил сторож. — Я, по крайней мере, пью из нее вот уже пятнадцать лет.

Джордж сказал, что его внешний вид — неважная реклама для фирмы и что он предпочел бы воду из колодца.

Мы достали воды в одном домике, немного выше по течению. Скорее всего, это была тоже речная вода. Но мы не спрашивали, откуда она, и все обошлось прекрасно. Что не видно глазу, то не огорчает желудка.

Однажды, позднее, мы попробовали речной воды, но это вышло неудачно. Мы плыли вниз по реке и сделали остановку в заводи недалеко от Виндзора, чтобы напиться чаю. Наш кувшин был пуст, и нам предстояло либо остаться без чая, либо взять воду из реки. Гаррис предложил рискнуть. Он говорил, что, если мы вскипятим воду, все будет хорошо. Все микробы, какие есть в воде, будут убиты кипячением.

Итак, мы наполнили котелок водой из реки Темзы и вскипятили ее. Мы очень тщательно проследили за тем, чтобы она вскипела.

Чай был готов, и мы только что уютно уселись и хотели за него приняться, как Джордж, который уже поднес было чашку к губам, воскликнул:

— Что это?

— Что именно? — спросили мы с Гаррисом.

— Вот это! — ответил Джордж, указывая пальцем на запад.

Гаррис и я проследили за его взглядом и увидели собаку, которая плыла к нам, увлекаемая медленным течением. Это была самая спокойная и мирная собака, какую я когда-либо видел. Я никогда не встречал собаки, которая казалась бы столь удовлетворенной и невозмутимой. Она мечтательно покачивалась на спине, задрав все четыре лапы в воздух. Это была, что называется, основательная собака с хорошо развитой грудной клеткой; она приближалась к нам, безмятежная, полная достоинства и спокойная, пока не поравнялась с нашей лодкой. Тут, в камышах, она остановилась и уютно устроилась на весь вечер.

Джордж сказал, что ему не хочется чаю, и выплеснул свою чашку в воду. Гаррис тоже не чувствовал жажды и последовал его примеру. Я уже успел выпить половину своей чашки, но теперь пожалел об этом.

Я спросил Джорджа, как он думает, будет ли у меня тиф.

Джордж сказал: «О нет!». По его мнению, у меня были большие шансы уцелеть. Впрочем, через две недели я узнаю, будет у меня тиф или нет.

Мы поднялись по каналу до Уоргрэва. Это сокращенный путь, который срезает правый берег полумилей выше шлюза Марш, и им стоит пользоваться: там красиво, тенисто, и вдобавок расстояние сокращается почти на полмили.

Вход в канал, разумеется, утыкан столбами, увешан цепями и окружен надписями, которые грозят всевозможными пытками, тюрьмой и смертью всякому, кто отважится по нему плавать. Удивительно, как это еще прибрежные зубры не заявляют претензий на воздух над рекой и не грозят каждому, кто им дышит, штрафом в сорок шиллингов! Но столбы и цепи при некоторой ловкости легко обойти, а что касается вывесок с надписями, то если у вас имеется пять минут свободного времени и поблизости никого нет, вы можете сорвать две-три штуки и бросить в воду.

Пройдя до половины канала, мы вышли на берег и позавтракали. Во время этого завтрака мы с Джорджем испытали сильное потрясение.

Гаррис тоже испытал потрясение, но оно и в сравнение не идет с тем, что пережили я и Джордж.

Дело было так. Мы сидели на лугу, ярдах в десяти от реки, и только

что расположились поудобнее, собираясь питаться. Гаррис зажал между колен мясной пирог и разрезал его, мы с Джорджем ждали, держа наготове тарелки.

— Есть у вас ложка? — сказал Гаррис. — Мне нужна ложка для подливки.

Корзина стояла тут же, сзади нас, и мы с Джорджем одновременно обернулись, чтобы достать ложку. Когда мы снова повернули головы, Гаррис и пирог исчезли.

Мы сидели в широком открытом поле. На сто ярдов вокруг не было ни деревца, ни изгороди, Гаррис не мог свалиться в реку, потому что мы были ближе к воде, и ему бы пришлось перелезть через нас, чтобы это сделать.

Мы с Джорджем посмотрели во все стороны. Потом мы взглянули друг на друга.

— Может быть, ангелы унесли его на небо? — сказал я.

— Они вряд ли взяли бы с собой пирог, — заметил Джордж.

Это возражение показалось мне веским, и небесная теория была отвергнута.

— Все дело, я думаю, в том, — сказал Джордж, возвращаясь к житейской прозе, — что произошло землетрясение. — И прибавил с оттенком печали в голосе: — Жаль, что он как раз в это время резал пирог!

Глубоко вздохнув, мы вновь обратили взоры к тому месту, где в последний раз видели пирог и Гарриса. И вдруг кровь застыла у нас в жилах и волосы встали дыбом: мы увидели голову Гарриса — одну только его голову, которая торчала среди высокой травы. Лицо его было очень красно и выражало сильнейшее негодование.

Джордж опомнился первым.

— Говори! — вскричал он. — Скажи нам, жив ты или умер и где твоё остальное тело!

— Не будь ослом, — сказала голова Гарриса. — Небось вы это сделали нарочно.

— Что сделали? — вскричали мы с Джорджем.

— Да посадили меня на это место. Чертовски глупая шутка. Нате, берите пирог.

И из самого центра земли, — по крайней мере так нам казалось, — поднялся пирог, жестоко истерзанный и помятый. Следом за ним вылез Гаррис, мокрый, грязный, взъерошенный.

Он, оказывается, не заметил, что сидел на самом краю канавы, скрытой густой травой, и, откинувшись назад, полетел в нее вместе с пирогом.



По его словам, он в жизни еще не был так изумлен, как когда почувствовал, что падает, и притом не имеет ни малейшего представления, что случилось. Сначала он решил, что настал конец света.

Гаррис до сих пор думает, что мы с Джорджем подстроили все это нарочно. Так несправедливое подозрение преследует даже самых праведных; ведь сказал же поэт: «Кто избегает клеветы?».

И правда, кто?

## Глава четырнадцатая

Уоргрэв. — Восковые фигуры. — Соннинг. — Ирландское рагу. — Монморенси настроен саркастически. — Битва Монморенси с чайником. — Джордж учится играть на банджо. — Это не встречает одобрения. — Трудности на пути музыканта-любителя. — Изучение игры на волынке. — Гаррису становится грустно после ужина. — Мы с Джорджем совершаем прогулку и возвращаемся мокрые и голодные. — С Гаррисом творится что-то странное. — Удивительная история про Гарриса и лебедей. — Гаррис проводит беспокойную ночь.

После завтрака мы воспользовались небольшим ветерком, и он медленно понес нас мимо Уоргрэва и Шиплэка. В мягких лучах сонного летнего дня Уоргрэв, притаившийся в излучине реки, производит впечатление приятного старинного города. Эта картина надолго остается в памяти.

Гостиница «Святой Георгий и дракон» в Уоргрэве может похвалиться замечательной вывеской. Эту вывеску расписал с одной стороны Лесли, член Королевской академии, а с другой — Ходжсон. Лесли изобразил сражение, Ходжсон — сцену после битвы, когда Георгий, сделав свое дело, наслаждается пивом.

В Уоргрэве жил и — к вящей славе этого городка — был убит Дэй, автор «Сэндфорда и Мертонна».

В уоргрэвской церкви стоит памятник миссис Саре Хилл, которая завещала ежегодно на Пасху делить один фунт стерлингов из оставленных ею денег между двумя мальчиками и двумя девочками, «которые никогда не были непочтительны с родителями, никогда не ругались, не лгали, не воровали и не били стекол». Отказаться от всего этого ради пяти шиллингов в год? Право, не стоит!

Старожилы утверждают, что однажды, много лет тому назад, объявился один мальчик, который действительно ничего такого не делал, — по крайней мере его ни разу не уличили, а это все, что требовалось, — и удостоился венца славы. После этого он три недели подряд красовался для всеобщего обозрения в городской ратуше под стеклянным колпаком.

Что случилось с деньгами потом, никто не знает. Говорят, что их каждый год передают ближайшему музею восковых фигур.

Шиплэк — хорошенькая деревня, но ее не видно с реки, так как она стоит на горе. В шиплэкской церкви венчался Теннисон.

Вплоть до самого Соннинга река вьется среди множества островов. Она очень спокойна, тиха и безлюдна. Только в сумерках по ее берегам

гуляют редкие парочки влюбленных. Чернь и золотая молодежь остались в Хэнли, а до унылого, грязного Рэдинга еще далеко. Здесь хорошо помечтать о минувших днях и канувших в прошлое лицах и о том, что могло бы случиться, но не случилось, черт его побери!

В Соннинге мы вышли и пошли прогуляться по деревне. Это самый волшебный уголок на реке. Здесь все больше похоже на декорацию, чем на деревню, выстроенную из кирпича и известки. Все дома утопают в розах, которые теперь, в начале июня, были в полном цвету. Если вы попадете в Соннинг, остановитесь в гостинице «Бык», за церковью. Это настоящая старая провинциальная гостиница с зеленым квадратным двором, где вечерами собираются старики и, попивая эль, сплетничают о деревенских делах; с низкими, точно игрушечными комнатами, с решетчатыми окнами, неудобными лестницами и извилистыми коридорами.

Мы пробродили по милому Соннингу около часа. Миновать Рэдинг мы в этот день уже не успели бы, а потому решили вернуться на один из островов около Шиплэка и заночевать там. Когда мы устроились, было еще рано, и Джордж сказал, что, раз у нас так много времени, нам представляется великолепный случай устроить шикарный, вкусный ужин. Он обещал показать нам, что можно сделать на реке в смысле стряпни, и предложил приготовить из овощей, холодного мяса и всевозможных остатков ирландское рагу.

Мы горячо приветствовали эту идею. Джордж набрал хворосту и разжег костер, а мы с Гаррисом принялись чистить картошку. Я никогда не думал, что чистка картофеля — такое сложное предприятие. Это оказалось самым трудным делом, в каком я когда-либо участвовал. Мы начали весело, можно даже сказать — игриво, но все наше оживление пропало к тому времени, как была очищена первая картофелина. Чем больше мы ее чистили, тем больше на ней было кожицы; когда мы сняли всю кожу и вырезали все глазки, от картофелины не осталось ничего, достойного внимания. Джордж подошел и посмотрел на нее. Она была не больше лесного ореха. Джордж сказал:

— Это никуда не годится. Вы губите картофель. Его надо скоблить.

Мы принялись скоблить, и это оказалось еще труднее, чем чистить. У них такая удивительная форма, у этих картофелин. Сплошные бугры, впадины и бородавки. Мы прилежно трудились двадцать пять минут и очистили четыре штуки. Потом мы забастовали. Мы заявили, что нам понадобится весь вечер, чтобы очиститься самим.

Ничто так не пачкает человека, как чистка картофеля. Трудно поверить, что весь тот мусор, который покрывал меня и Гарриса, взялся с

каких-то четырех картофелин. Это показывает, как много значат экономия и аккуратность.

Джордж сказал, что нелепо класть в ирландское рагу только четыре картошки, и мы вымыли еще штук пять-шесть и бросили их в котел неочищенными. Мы также положили туда кочан капусты и фунтов пять гороху. Джордж смешал все это и сказал, что остается еще много места. Тогда мы перерыли обе наши корзины, выбрали оттуда все объедки и бросили их в котел. У нас оставалось полпирога со свининой и кусок холодной вареной грудинки, а Джордж нашел еще полбанки консервированной лосося. Все это тоже пошло в рагу.

Джордж сказал, что в этом главное достоинство ирландского рагу: сразу избавляешься от всего лишнего. Я выудил пару разбитых яиц, и мы присоединили их к прочему. Джордж сказал, что соус станет от них гуще. Я уже забыл, что мы еще туда положили, но знаю, что ничто не пропало даром. Под конец Монморенси, который проявлял большой интерес ко всей этой процедуре, вдруг куда-то ушел с серьезным и задумчивым видом. Через несколько минут он возвратился, неся в зубах дохлую водяную крысу. Очевидно, он намеревался предложить ее как свой вклад в общую трапезу. Было ли это издевкой или искренним желанием помочь — мне неизвестно.

У нас возник спор, стоит ли пускать крысу в дело. Гаррис сказал, почему бы и нет, если смешать ее со всем остальным, каждая мелочь может пригодиться. Но Джордж сослался на прецедент: он никогда не слышал, чтобы в ирландское рагу клали водяных крыс, и предпочитает воздержаться от опытов.

Гаррис сказал:

— Если никогда не испытывать ничего нового, как же узнать, хорошо оно или плохо? Такие люди, как ты, тормозят прогресс человечества. Вспомни о немце, который первым сделал сосиски.

Наше ирландское рагу имело большой успех. Я, кажется, никогда ничего не ел с таким удовольствием. В нем было что-то такое свежее, острое. Наш язык устал от старых, избитых ощущений; перед нами было новое блюдо, не похожее вкусом ни на какое другое.

Кроме того, оно было очень сытно. Как выразился Джордж, материал был неплохой. Правда, картофель и горох могли бы быть помягче, но у всех у нас были хорошие зубы, так что это не имело значения. Что же касается соуса, то это была целая поэма. Быть может, он был слишком густ для слабого желудка, но зато питателен.

Мы закончили ужин чаем и пирогом с вишнями, а Монморенси

вступил в бой с чайником и вышел из него побежденным.

С самого начала нашего путешествия чайник возбуждал у Монморенси величайшее любопытство. Он сидел и с озадаченным видом наблюдал, как чайник кипит, время от времени пытаясь раздражить его ворчанием. Когда чайник начинал брызгаться и пускать пар, Монморенси принимал это за вызов и хотел вступить в бой, но в эту самую минуту кто-нибудь из нас подбегал и уносил его добычу, не дав ему времени схватить ее.

В этот день наш пес решил опередить всех. Не успел чайник зашуметь, как он, громко ворча, поднялся и с грозным видом направился к чайнику. Это был небольшой чайник, но он был полон отваги и начал фыркать и плевать на Монморенси.

— Ах вот как! — зарычал пес, оскалив зубы. — Я научу тебя прилично вести себя с почтенной, работающей собакой, жалкий, длинноносый, грязный негодяй. Выходи!

И он бросился на бедный маленький чайник и схватил его за носик.

И сейчас же в вечерней тишине прозвучал леденящий душу вопль, и Монморенси выскочил из лодки и трижды полным ходом обежал вокруг острова, время от времени останавливаясь и зарываясь носом в прохладную грязь.

С этих пор Монморенси смотрел на чайник с почтением, недоверием и страхом. При виде его он ворчал и быстро, поджавши хвост, пятился прочь. Когда чайник ставили на спиртовку, он моментально вылезал из лодки и сидел на берегу до самого конца чаепития.

После ужина Джордж вытащил свое банджо и хотел поиграть, но Гаррис запротестовал. Он сказал, что у него болит голова и он не чувствует себя достаточно крепким, чтобы выдержать игру Джорджа. Джордж возразил, что музыка может ему помочь — музыка ведь часто успокаивает нервы и прогоняет головную боль, — и взял две-три гнусавые ноты, на пробу. Но Гаррис сказал, что предпочитает головную боль.

Джордж так до сих пор и не научился играть на банджо. Он встретил слишком мало поддержки у окружающих. Два или три раза, по вечерам, когда мы были на реке, он пробовал упражняться, но это всегда кончалось неудачей. Одних выражений Гарриса было бы достаточно, чтобы обескуражить кого угодно, а тут еще Монморенси выл не переставая все время, пока Джордж играл. Где уж тут было научиться!

— С чего это он всегда воет, когда я играю? — возмущенно восклицал Джордж, прицеливаясь в Монморенси башмаком.

— А ты чего играешь, когда он воет? — говорил Гаррис, перехватывая башмак на лету. — Оставь собаку в покое. Она не может не выть. У нее

музыкальный слух, как же ей не взвыть от твоей игры.

Джордж решил отложить занятия музыкой до возвращения домой. Но и дома ему не удалось упражняться. Миссис П. стучала ему в дверь и говорила, что просит прощения: ей самой приятно его слушать, но дама наверху в интересном положении, и доктор боится, как бы это не повредило ребенку.

Тогда Джордж попробовал уносить банджо по ночам из дому и упражняться на площади. Но окрестные жители пожаловались в полицию, и однажды ночью Джорджа выследили и схватили. Улики против него были очевидны, и его обязали не нарушать тишины в течение шести месяцев.

После этого Джордж, видимо, потерял вкус к музыке. Правда, когда шесть месяцев прошли, он сделал одну или две слабые попытки снова приняться за банджо, но ему по-прежнему приходилось бороться с холодностью и недостатком сочувствия со стороны окружающих. Через некоторое время он совсем отчаялся и дал объявление о продаже своего инструмента «за ненадобностью» с большой скидкой, а сам начал учиться показывать карточные фокусы.

Должно быть, малоприятное занятие — учиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Казалось бы, общество ради своего же блага должно всемерно помочь человеку овладеть искусством играть на чем-нибудь, но это не так.

Я знал одного молодого человека, который учился играть на волынке. Прямо удивительно, какое сопротивление ему приходилось преодолевать. Даже от членов своей собственной семьи он не получал, так сказать, активной поддержки. Его отец был с самого начала ярым противником этого дела и говорил о нем безо всякой чуткости.

Мой знакомый сначала вставал и упражнялся спозаранку, но ему пришлось отказаться от этой системы из-за своей сестры. Она была женщина религиозная и заявила, что начинать день таким образом — свыше ее сил.

Тогда он стал играть по ночам, после того как его родные ложились спать. Но из этого тоже ничего не вышло, так как его дом приобрел дурную репутацию. Запоздалые прохожие останавливались, прислушиваясь, а наутро рассказывали по всему городу, что в доме мистера Джефферсона произошло ночью ужасное убийство. Они утверждали, будто слышали крики жертвы, грубые ругательства и проклятия убийцы, мольбы о пощаде и предсмертный хрип.

Тогда моему знакомому разрешили упражняться днем на кухне, закрыв все двери. Но, несмотря на эти предосторожности, наиболее удачные

пассажи были все же слышны в гостиной и доводили его мать чуть ли не до слез.

Она говорила, что это напоминает ей о ее несчастном отце (беднягу проглотила акула, когда он купался у берегов Новой Гвинеи. Почему звуки волынки вызывали в ее памяти именно этот образ, она не могла объяснить).

Наконец молодому Джефферсону сколотили хибарку в самом дальнем конце сада, примерно за четверть мили от дома, и он должен был таскать туда свою махину, когда хотел подзаняться. Но иногда к ним приходил какой-нибудь знакомый, который ничего не знал об этом, и его забывали осведомить и предостеречь. Он выходил прогуляться по саду и вдруг, не будучи подготовлен и не зная, в чем дело, оказывался в пределах слышимости волынки. Люди с сильной волей отделялись при этом обмороком, субъекты с нормальным темпераментом сходили с ума.

Нельзя не признать, что человек, пробующий научиться играть на волынке, вызывает горестное чувство. Я сам испытал это, слушая моего молодого друга. Прежде чем начать, нужно запастись воздухом на всю пьесу — так, по крайней мере, казалось мне, когда я смотрел на Джефферсона.

Начинал он великолепной, яростной, вызывающей нотой, которая прямо-таки будоражила слушателя. Но чем дальше, тем звук становился тише, и последний куплет обычно замирал на середине, переходя в бульканье и шипенье.

Надо обладать железным здоровьем, чтобы играть на волынке.

Молодой Джефферсон выучился играть всего одну пьесу, но я ни разу не слышал ни от кого жалобы на бедность его репертуара. Эта пьеса называлась: «Ведет нас Кэмпбел в бой, ура, ура!». Так, по крайней мере, говорил мой приятель, хотя его отец всегда утверждал, что это «Шотландские колокольчики». Никто, по-видимому, не знал в точности, какая это пьеса, но все говорили, что в ней есть что-то шотландское.

Незнакомым разрешалось угадывать три раза, причем большинство каждый раз называло другую пьесу.

После ужина Гаррис пришел в дурное настроение. Вероятно, его расстроило рагу — он не привык к роскошной жизни. Мы с Джорджем оставили его в лодке и решили прогуляться по Хэнли. Гаррис сказал, что он удовольствуется стаканом виски и трубкой и приготовит лодку на ночь. Когда мы вернемся, нам стоит лишь крикнуть — и он приплывет с острова и заберет нас.

— Смотри только не засни, старина, — говорили мы, уходя.

— Заснешь тут, когда это рагу еще действует, — проворчал Гаррис и

вернулся на остров.

Хэнли готовился к гонкам яхт и был полон оживления. Мы встретили в городе знакомых, и время в приятном обществе прошло быстро. Было уже около одиннадцати, когда мы пустились в четырехмильный переход обратно к дому (к этому времени мы уже привыкли называть так нашу лодочку).

Ночь была унылая и холодная, моросил дождь. Мы плелись по темным, безмолвным полям и разговаривали вполголоса, не зная, верно мы идем или нет. Мы думали о нашей уютной лодке, о ярком свете фонаря, пробивающемся сквозь туго натянутую парусину, о Гаррисе, Монморенси и виски, и нам хотелось быть у цели.

Усталые и проголодавшиеся, мы видели себя в лодке, видели темную реку, бесформенные деревья и под ними наше милое суденышко, похожее на огромного светляка, такое уютное, теплое и веселое. Мы воображали, что сидим за ужином и пожираем холодное мясо, передавая друг другу огромные ломти хлеба. Мы слышали веселый стук ножей и оживленные голоса, оглашающие мрак ночи. И мы спешили, чтобы увидеть все это наяву.

Наконец мы вышли на реку, и это развеселило нас. До этого мы не знали, приближаемся мы к реке или уходим от нее, а когда устанешь и хочется спать, такие сомнения раздражают.

Когда мы проходили через Скиплэк, часы пробили без четверти двенадцать. Вскоре после этого Джордж задумчиво спросил:

— Ты не помнишь, у которого острова мы остановились?

— Нет, не помню, — ответил я, тоже становясь серьезным. — А сколько их вообще?

— Всего четыре, — ответил Джордж. — Если он не спит, все будет в порядке.

— А если спит? — спросил я.

Но мы прогнали от себя такие мысли.

Поравнявшись с первым островом, мы крикнули, но ответа не было. Тогда мы перешли ко второму и повторили свою попытку. Результат был тот же.

— Ах да, я вспомнил, — сказал Джордж. — Это третий остров. Полные надежд, мы побежали к третьему острову и крикнули. Никакого ответа.

Положение становилось серьезным. Дело было за полночь. Гостиницы в Скиплэке и Хэнли, несомненно, переполнены. Не могли же мы ходить по городу и стучаться посреди ночи к жителям, спрашивая, не сдадут ли они



комнату. Джордж предложил вернуться в Хэнли и напасть на полисмена, это обеспечит нам ночлег в участке. Но у нас возникло опасение: а вдруг полисмен просто даст нам сдачи и откажется нас арестовать?

Мы не могли всю ночь драться с полисменами. Кроме того, нам не хотелось перехватить через край и получить шесть месяцев тюрьмы.

В отчаянии мы подошли к тому, что казалось в темноте четвертым островом, но результат был не лучше. Дождь полил сильнее и, видимо, зарядил надолго. Мы промокли до нитки, озябли и совсем пали духом. Нам начало казаться, что, может быть, островов не четыре, а больше, что мы находимся вовсе не у островов, а за милю от того места, где нам следует быть, или даже в другой части реки. В темноте все выглядело так странно и незнакомо. Мы начали понимать переживания детей, заблудившихся в лесу.

И вот, когда мы уже потеряли всякую надежду... Да, я знаю, в сказках и в романах все перемены происходят именно в этот момент, но я ничего не могу поделать. Приступая к этой книге, я решил быть строго правдивым во всем и не изменю этому, даже если бы мне пришлось прибегать к избитым оборотам. Это действительно случилось тогда, когда мы потеряли надежду, и я должен так выразиться.

Итак, когда мы потеряли всякую надежду, я внезапно заметил несколько ниже нас какой-то странный, необычный огонек, который мерцал среди деревьев на противоположном берегу реки. Сначала я подумал о духах — это был такой призрачный, загадочный огонек, — но через минуту меня осенила мысль, что это наша лодка, и я испустил дикий вопль, от которого, наверное, сама ночь перевернулась в постели.

Мы ждали, затаив дыхание, и вдруг — о божественная музыка ночи! — послышался ответный лай Монморенси. Мы снова крикнули — достаточно громко, чтобы разбудить семь спящих отроков<sup>[6]</sup> (кстати, я никогда не мог понять, почему требуется больше шума, чтобы разбудить семь спящих, чем одного), и через пять минут, которые показались нам вечностью, мы увидели, что освещенная лодка тихо ползет во мраке, и услышали сонный голос Гарриса, который спрашивал, где мы.

С Гаррисом творилось что-то странное. Это было нечто большее, чем обычная усталость. Он подвел лодку к берегу в таком месте, где нам совершенно невозможно было в нее сесть, и немедленно заснул. Потребовалось много крику и возни, чтобы снова разбудить его и несколько привести в разум. Но наконец нам это удалось, и мы благополучно влезли в лодку.

Тут мы заметили, что лицо у Гарриса грустное. Он был похож на человека, который пережил крупные неприятности. Мы спросили, не

случилось ли чего, и Гаррис сказал:

— Лебеди.

Оказывается, наша лодка была причалена возле гнезда лебедей, и, после того как мы с Джорджем ушли, прилетела самка и подняла скандал. Гаррис прогнал ее, и она скрылась и вскоре возвратилась со своим мужем. По словам Гарриса, он выдержал с этой парой лебедей настоящую битву. Но в конце концов храбрость и искусство взяли верх, и он обратил их в бегство. Спустя полчаса они возвратились, и с ними еще восемнадцать лебедей. Судя по рассказу Гарриса, сражение было ужасно. Лебеди пытались вытащить его и Монморенси из лодки и утопить. Он четыре часа героически отбивался и подшиб всех лебедей, и они уплыли, чтобы умереть спокойно.

— Сколько, ты говоришь, было лебедей? — спросил Джордж.

— Тридцать два, — сонно ответил Гаррис.

— Ты только что сказал — восемнадцать, — заметил Джордж.

— Ничего подобного, — проворчал Гаррис, — я сказал двенадцать. Ты что, думаешь, я не умею считать?

Истинную правду об этих лебедях мы так никогда и не узнали. Утром мы спрашивали об этом Гарриса, но Гаррис сказал: «Какие лебеди?» — и, по-видимому, решил, что нам с Джорджем это приснилось.

О, как приятно было после всех наших испытаний и страхов чувствовать себя в безопасности на лодке! Мы с Джорджем основательно поужинали и охотно выпили бы грогу, если бы могли найти виски. Но мы не нашли его. Мы спросили Гарриса, что он с ним сделал, но Гаррис, видимо, не понимал, что означает слово «виски» и о чем мы вообще говорим. Монморенси сидел с таким видом, будто он что-то знает, но не хочет сказать.

Эту ночь я спал хорошо, и мог бы спать еще лучше, если бы не Гаррис. Я смутно помню, что просыпался за ночь не меньше десяти раз из-за Гарриса, который ходил по лодке с фонарем и разыскивал свое платье. Он, видимо, всю ночь беспокоился о своем платье.

Два раза он расталкивал меня и Джорджа, чтобы посмотреть, не лежим ли мы на его брюках. На второй раз Джордж пришел прямо-таки в бешенство.

— Зачем тебе, черт возьми, понадобились посреди ночи брюки? — с негодованием воскликнул он. — Чего ты не спишь?

Проснувшись в следующий раз, я увидел, что Гаррис не может найти свои носки. Последнее, что я смутно помню, это ощущение, что меня перекатывают с боку на бок, и бормотание Гарриса, который не мог понять,

куда запропастился его зонтик.

## Глава пятнадцатая

Хозяйственные обязанности. — Любовь к работе. — Старый гребец, его дела и рассказы. — Скептицизм молодого поколения. — Первые воспоминания о поездках на лодке. — Управление плотом. — Стильная гребля Джорджа. — Старый лодочник и его метода. — Неторопливость и спокойствие. — Новичок. — Плавание с шестом. — Печальное происшествие. — Радости дружбы. — Мой первый опыт с парусом. — Почему мы не утонули.

Утром мы проснулись поздно и по настоятельному требованию Гарриса удовольствовались незатейливым завтраком, «без деликатесов». Потом мы вымыли посуду и все убрали на место (эта ежедневная работа как будто помогает мне разрешить вопрос, который часто ставил меня в тупик: каким образом женщина, имеющая на руках всего одну квартиру, ухитряется убить время?). В десять часов мы пустились в дорогу, решив пройти за день как можно больше.

Мы сговорились идти с утра на веслах, вместо того чтобы тянуть бечеву. Гаррис высказал мнение, что лучше всего будет, если я и Джордж станем грести, а он — править рулем. Я сказал, что Гаррис проявил бы больше благоразумия, если бы взялся вместе с Джорджем поработать, а мне дал бы отдохнуть. Мне казалось, что я работаю больше, чем мне по справедливости полагается, и я глубоко это переживал.

Мне всегда кажется, что я работаю больше, чем следует. Не думайте, что я уклоняюсь от работы. Я люблю работу. Работа увлекает меня. Я часами могу сидеть и смотреть, как работают. Мне приятно быть около работы: мысль о том, что я могу лишиться ее, сокрушает мое сердце.

Мне нельзя дать слишком много работы — набирать работу сделалось моей страстью. Мой кабинет до того завален работой, что там не осталось ни дюйма свободной площади. Мне скоро придется пристраивать новый флигель.

Я очень бережно отношусь к моей работе. Часть работы, которая лежит у меня теперь, находится в моем кабинете уже многие годы, и на ней нет ни пятнышка. Я очень горжусь моей работой. Иногда я снимаю ее с полки и сметаю с нее пыль. Я, как никто, забочусь о ее сохранности.

Но хотя я жажду работы, мне все же хочется быть справедливым. Я не прошу больше того, что приходится на мою долю. А мне дают больше — так мне, по крайней мере, кажется, и это меня огорчает. Джордж говорит, что мне не стоит об этом тревожиться. Он считает, что только моя чрезмерная щепетильность заставляет меня бояться, что я имею больше

работы, чем нужно. На самом деле мне не достается и половины того, что следует. Вероятно, он говорит это для того, чтобы меня утешить.

Я заметил, что в лодке каждый член команды уверен, что он один все и делает. Гаррис сказал, что работает один он, а мы с Джорджем его обманываем. Джордж, наоборот, высмеивал Гарриса, утверждая, что тот только ест и спит, и был твердо уверен, что именно он, Джордж, выполняет всю работу, о которой стоит говорить.

Он заявил, что никогда еще не плавал с такими лентяями, как я и Гаррис.

Это позабавило Гарриса.

— Вы только послушайте! Старина Джордж рассуждает о работе, — смеялся он. — Да после получаса работы он испустил бы дух. Видел ты когда-нибудь, чтобы Джордж работал? — обратился он ко мне.

Я согласился с Гаррисом, что не видел, — во всяком случае, с тех пор, как началась наша прогулка.

— Право, не понимаю, откуда ты можешь об этом знать, — возразил Джордж Гаррису. — Черт меня побери, если ты не проспал всю дорогу. Видел ты когда-нибудь, чтобы Гаррис не спал, если только он в это время не ел? — спросил он, обращаясь ко мне.

Любовь к истине заставила меня поддержать Джорджа. От Гарриса с самого начала было мало пользы.

— Но все-таки я, черт возьми, работал больше, чем старина Джей! — продолжал Гаррис.

— Трудно было бы работать меньше, — заметил Джордж.

— Джей, наверное, считает себя здесь пассажиром, — не унимался Гаррис.

Вот какова была их благодарность за то, что я тащил их и эту несчастную лодку от самого Кингстона, все для них устроил, и организовал, и заботился о них, и выбивался из сил. Так всегда бывает на этом свете!..

В данном случае мы вышли из затруднения, сговорившись, что Джордж и Гаррис будут грести до Рэдинга, а оттуда я потащу лодку на бечеве. Тащить тяжелую лодку против сильного течения не так уж весело. Было время, когда я рвался к тяжелой работе, теперь я предпочитаю уступать место молодежи.

Я заметил, что большинство старых гребцов тоже охотно стушевывается, когда предстоит хорошо поработать веслами. Старого лодочника всегда можно узнать по тому, как он лежит на подушке на дне лодки и подбадривает гребцов, рассказывая им, какие он совершал чудеса в

прошлом году.

— И это вы называете трудной работой? — тянет он, самодовольно попыхивая трубкой и обращаясь к двум измученным юношам, которые уже полтора часа стойко гребут против течения. — Вот мы с Джеком и Джимом Биффлсом проплыли прошлым летом от Марло до Горинга в один день, без единой остановки. Ты помнишь, Джек?

Услышав этот вопрос, Джек, который устроил себе на носу постель из всех пальто и пледов, какие мог собрать, и уже два часа спит, наполовину просыпается и вспоминает все подробности знаменательного дня. Он помнит даже, что течение было необычайно сильное и дул резкий встречный ветер.

— Мы прошли примерно тридцать четыре мили, — говорит рассказчик, подкладывая себе под голову еще одну подушку.

— Ну, ну, Том, не преувеличивай, — укоризненно бормочет Джек. — Самое большее — тридцать три.

И Джек с Томом, обессилив от этого напряженного разговора, засыпают снова. А доверчивые юноши на веслах чувствуют себя страшно гордыми, что им позволили везти таких замечательных гребцов, как Джек и Том, и стараются пуще прежнего.

Я сам в молодости слушал эти рассказы старших, впитывал их, глотал, переваривал каждое слово и просил еще. Но новая смена, видимо, не обладает наивной верой былых времен. Мы трое — Джордж, я и Гаррис — как-то взяли с собой прошлым летом такого «молокососа» и всю дорогу начиняли его обычными небылицами о чудесах, которые мы якобы совершили. Мы угощали его всеми подобающими анекдотами и освященными временем сказками, которые вот уже много лет честно служат гребцам, и прибавили еще семь совершенно оригинальных историй, которые выдумали сами. Одна из них была вполне правдоподобна и основывалась на почти истинном случае, который в слегка измененном виде произошел несколько лет назад с нашими знакомыми. Любой ребенок мог поверить этой истории, не роняя своего достоинства.

А этот юноша только издевался над нами и требовал, чтобы мы тут же на месте повторили свои подвиги, и бился об заклад, что мы не согласимся.

В то утро мы разговорились о случаях из нашей гребной практики и начали вспоминать свои первые опыты в искусстве гребли. Самое раннее, что я помню в связи с лодкой, — это то, как пять мальчишек, и я в том числе, пожертвовали каждый по три пенса и спустили на озеро в Риджент-парке какой-то нелепый плот, после чего нам всем пришлось сушиться в парковой сторожке.

Впоследствии я почувствовал влечение к воде и много плавал на плотках по различным загородным прудам. Это занятие гораздо более интересно и увлекательно, чем кажется с первого взгляда, в особенности когда вы находитесь посередине пруда, а на берегу внезапно появляется с большой палкой в руке владелец материалов, из которых построен плот.

При виде этого джентльмена у вас прежде всего появляется чувство, что вам почему-то не хочется быть в обществе и разговаривать и что, если бы не боязнь показаться невежливым, вы бы охотно уклонились от встречи с ним. Поэтому вы ставите себе целью добраться до противоположного берега и быстро и бесшумно уйти домой, притворяясь, что не видите вашего врага. Но тот, напротив, прямо-таки жаждет взять вас за руку и поговорить с вами. Выясняется, что он близко знаком с вами и знает вашего отца, но это не привлекает вас к нему. Он кричит, что научит вас, как брать его доски и связывать из них плот, но, поскольку вы и так умеете это делать, предложение кажется вам излишним, и вам не хочется его принимать — зачем же затруднять человека!

Однако стремление этого джентльмена с вами встретиться несколько не ослабевает от вашего равнодушия; неутомимость, которую он проявляет, бегая по берегу пруда, чтобы своевременно оказаться на месте и приветствовать вас, может прямо-таки польстить каждому. Если это человек толстый и склонный к одышке, вам сравнительно легко уклониться от его любезности; если же он худощав и длинноног, встреча неизбежна. Свидание, однако, заканчивается быстро, причем разговор ведет главным образом владелец досок. Ваше участие в нем ограничивается односложными восклицаниями, и, как только представляется возможность вырваться из его рук, вы удираете.

Я посвятил плаванью на плотках примерно три месяца и, приобретя достаточный опыт в этой отрасли искусства, решил заняться собственно греблей, для чего записался в один из клубов реки Ли. Походив на лодке по этой реке, особенно в субботу после обеда, вы вскоре приобретаете достаточную ловкость в обращении с веслами и увертливость при столкновениях с баржами и баркасами. Это предоставляет также достаточные возможности научиться изящно растягиваться на дне лодки, чтобы не быть выкинутым в реку чьей-нибудь бечевой.

Но стиля гребли здесь не выработать. Стил я приобрел лишь на Темзе. Мой стиль гребли вызывает теперь общее восхищение. Все находят его очень своеобразным.

Джордж не подходил к воде, пока ему не исполнилось шестнадцать лет. После этого он и еще восемь джентльменов примерно того же возраста

всей компанией отправились однажды в субботу в Кью, намереваясь нанять там лодку и проплыть до Ричмонда и обратно. Один из них, лохматый юнец по фамилии Джоскинс, который раз или два плавал на лодке по Серпентайну,<sup>[7]</sup> уверял их, что это очень весело.

Когда они пришли на пристань, был час отлива и течение было довольно быстрое. С реки дул резкий ветер. Но это ничуть их не смутило, и они начали выбирать лодку.

На пристани сушилась гоночная восьмерка. Она понравилась им. «Вот эту, пожалуйста», — сказали они. Лодочника на пристани не было, его заменял его маленький сын. Мальчик попробовал охладить их влечение к восьмерке и показал им две или три другие лодки уютного семейного типа, но они не подошли нашим юношам. Подавай им восьмерку — в ней они будут выглядеть лучше всего.

Мальчик спустил ее на воду, молодые люди скинули куртки и начали рассаживаться. Мальчик выразил мнение, что Джорджу, который уже и в то время был в любой компании тяжелее всех, лучше всего сесть четвертым. Джордж сказал, что он рад быть четвертым, и, быстро подойдя к месту носового, занял его, сев спиной к корме. В конце концов его усадили как следует, и остальные тоже заняли свои места.

Рулевым назначили одного молодого человека с необычайно слабыми нервами. Джоскинс изложил ему основы управления рулем, а сам сел за гробным. Он объяснил всем, что это очень просто: пусть делают то же, что и он.

Все заявили, что они готовы, и мальчик на пристани взял багор и оттолкнул их от берега.

Что было дальше — этого Джордж рассказать не может. Он смутно помнит, что сейчас же после старта получил сильный удар в поясницу рукояткой весла номера пятого и почувствовал, что скамья, словно по волшебству, ускользает из-под него и он сидит на дне. Тут же он с интересом отметил, что номер второй в эту минуту лежал на спине, задрав ноги вверх, очевидно, в обмороке.

Они прошли под мостом Кью бортом вперед со скоростью восьми миль в час, причем Джоскинс был единственным, кто работал веслом. Джордж, усевшись снова на свое место, попробовал было ему помочь, но, когда он опустил весло в воду, это весло, к его величайшему удивлению, исчезло под лодкой и едва не увлекло его за собой.

Потом рулевой бросил обе веревки за борт и залился слезами.

Как они вернулись назад, Джордж не помнит, но на это потребовалось ровно сорок минут. Густая толпа с большим интересом наблюдала с моста



это зрелище, каждый давал свои указания. Трижды нашим юношам удавалось выйти из-под пролета, и трижды их снова увлекало под пролет. Всякий раз, как рулевой взглядывал вверх и видел над собой мост, он снова раздражался рыданиями.

Джордж говорил, что не думал в ту минуту, что когда-нибудь полюбит катанье на лодке.

Гаррис — тот больше привык грести на море, чем на реке. Он говорит, что как гимнастика это нравится ему больше. Я с ним не согласен.

Помню, прошлым летом, я нанял в Истборне маленькую лодочку. Много лет назад мне приходилось ходить на веслах по морю, и я думал, что все будет хорошо. Оказалось, однако, что я совершенно разучился грести. Когда одно весло погружалось глубоко в воду, другое нелепо било по воздуху. Чтоб зачерпнуть воду обоими сразу, мне приходилось вставать на ноги. На набережной было полно всякой знати, и мне пришлось плыть мимо них в этом смешном положении. На полдороге я пристал к берегу и, чтобы вернуться назад, прибег к услугам старого лодочника.

Я люблю смотреть, как гребут старые лодочники, особенно когда их нанимают по часам. В их гребле есть что-то такое спокойное, неторопливое. Она совершенно лишена той суетливой спешки, волнения и напряженности, которая все больше и больше заражает новое поколение. Опытный лодочник ничуть не старается кого-нибудь обогнать. Если его самого обгоняет чья-нибудь лодка, это не раздражает его. Собственно говоря, его обгоняют все лодки — все те, что идут в его сторону. Некоторых это бы могло раздосадовать. Величественное спокойствие, которое проявляет при этом наемный лодочник, может послужить прекрасным уроком для людей честолубивых и чванных.

Простая, обычная гребля, с единственной целью двигать лодку вперед, — не особенно трудное искусство, но требуется большая практика, чтобы чувствовать себя непринужденно, когда гребешь и на тебя смотрят девушки. Неопытного юнца больше всего смущает «такт». «Просто смешно, — говорит он, стараясь в двадцатый раз за последние пять минут отцепить свои весла от ваших, — когда я один, я отлично управляюсь».

Очень забавно смотреть, как два новичка стараются грести в такт. Носовой никак не может разойтись с кормовым, потому что кормовой, мол, гребет как-то странно. Кормовой ужасно возмущен этим и объясняет, что он вот уже десять минут пытается приспособить свой метод гребли к ограниченным способностям носового. Тогда носовой в свою очередь обижается и просит кормового не беспокоиться о нем, но посвятить все внимание разумной гребле на корме.

— А может быть, мне сесть на твое место? — говорит он, явно намекая, что это сразу исправило бы дело.

Они шлепают веслами еще сотню ярдов с весьма умеренным успехом, потом кормового вдруг осеняет, и тайна их неудачи становится ему ясна.

— Вот в чем дело — у тебя мои весла, — кричит он носовому. — Передай-ка их мне.

— То-то я удивлялся, что у меня ничего не выходит, — говорит носовой, сразу повеселев и с охотой соглашаясь на обмен. — Теперь дело пойдет на лад.

Но дело не идет на лад даже теперь. Кормовому, чтобы достать свои весла, приходится вытягивать руки во всю длину, а носовой при каждом взмахе больно ударяет себя веслами в грудь. Они снова меняются, приходят к выводу, что лодочник дал им не тот набор весел, и, наперебой ругая его, проникаются друг к другу самыми теплыми чувствами.

Джордж говорит, что ему давно хочется для разнообразия поплавать на плоскодонке с шестом. Плавать на плоскодонке не так легко, как кажется. Как и при гребле, вы быстро обучаетесь двигаться вперед и управляться с лодкой, но требуется большой опыт, чтобы делать это с достоинством, не заливая всего себя водой.

С одним моим знакомым юношей, когда он впервые плыл на плоскодонке, произошел очень печальный случай. Дело шло у него так хорошо, что он стал совсем нахалом и гулял по лодке, действуя шестом с таким небрежным изяществом, что прямо приятно было смотреть. Он подходил к носу лодки, втыкал свой шест и отбегал на другой конец, словно заправский моряк. Это было великолепно!

Так же великолепно все бы и кончилось, если бы этот юноша, любуясь пейзажем, не отбежал ровно на один шаг дальше, чем нужно, и не сошел с лодки совсем. Шест глубоко вонзился в тину, и юноша остался висеть на нем, а лодку понесло по течению. Его поза была явно лишена достоинства, и какой-то дерзкий мальчишка на берегу сейчас же крикнул своему отставшему товарищу: «Эй, беги посмотри — вон живая обезьяна на палке».

Я не мог помочь моему товарищу, потому что мы, как назло, не позаботились взять с собой запасной шест. Я мог только сидеть и смотреть на него. Никогда не забуду, какое у него было лицо, пока шест медленно клонился набок. Оно было полно задумчивости.

Я наблюдал, как он тихо опустился в воду, видел, как он вылез на берег, грустный и вымокший. Он был так смешон, что я не мог не расхохотаться. Еще долго я посмеивался про себя, и вдруг меня осенила

мысль, что мне, в сущности, должно быть не до смеху. Я ведь сижу один на плоскодонке, без шеста и беспомощно несусь по течению, вероятнее всего к плотине.

Я очень рассердился на моего приятеля за то, что он шагнул за борт и так подвел меня. Он мог бы по крайней мере оставить мне шест.

Меня несло с четверть мили, а потом я заметил другую плоскодонку, стоящую на якоре посреди реки, и в ней двух старых рыбаков. Они увидели, что я мчусь прямо на них, и крикнули, чтобы я свернул в сторону.

— Не могу! — закричал я в ответ.

— Да вы и не пробуете! — крикнули они.

Подплыв ближе, я объяснил им, в чем дело, и они поймали меня и дали мне шест. Плотина была от меня в пятидесяти ярдах. Я рад, что эти рыбаки оказались тут.

Первый раз я собирался выехать на плоскодонке с тремя другими молодыми людьми. Они должны были мне показать, как с ней управляться. Мы почему-то не могли выйти вместе, и я сказал, что пойду вперед и спущу лодку на воду, а потом поболтаюсь немного на реке и поупражняюсь, пока они придут.

Мне не удалось получить плоскодонку — все были заняты. Поэтому мне ничего не оставалось, как сидеть на берегу и смотреть на реку, поджидая моих товарищей.

Вскоре мое внимание привлек один молодой человек на плоскодонке, у которого, как я с удивлением заметил, была такая же куртка и кепи, как у меня. Это, видимо, был новичок, и смотреть на него было очень интересно. Никак нельзя было угадать, что случится, когда он опустит шест, — видимо, он и сам не знал этого. Иногда его бросало вверх по течению, иногда сносило вниз, а чаще всего он просто крутился волчком на одном месте, объезжая кругом шеста. При любом исходе дела он казался одинаково удивленным и огорченным.

Люди на берегу очень увлеклись этим зрелищем и держали пари, чем кончится каждый следующий толчок.

Между тем мои приятели пришли на другой берег и тоже стали наблюдать за этим юношей. Он стоял к ним спиной, и они видели только его куртку и кепи. Разумеется, они сейчас же решили, что это я, их возлюбленный друг, изображаю тут идиота, и радость их не имела границ. Они принялись немилосердно издеваться над бедным юношей.

Я не сразу догадался об их ошибке и подумал: «До чего невежливо с их стороны так насмехаться, да еще над незнакомым». Но, прежде чем я успел их остановить, мне все стало ясно, и я спрятался за деревом.

С каким наслаждением эти балбесы высмеивали несчастного! Добрых пять минут они стояли на берегу и кричали ему всякий вздор, издеваясь, насмехаясь и глумясь над ним. Они бомбардировали его старыми остротами, они даже придумали несколько новых, которые тоже выпали ему на долю. Они осыпали его разными семейными шутками, употреблявшимися в нашем кругу и совершенно непонятными для постороннего. Наконец, не в силах больше выносить их зубоскальство, юноша обернулся, и они увидели его лицо.

Мне приятно было отметить, что у моих приятелей хватило стыда, чтобы почувствовать себя круглыми дураками. Они объяснили юноше, что приняли его за своего приятеля, и выразили надежду, что он не считает их способными оскорблять так кого-нибудь, кроме друзей и знакомых.

Разумеется, то, что они сочли этого юношу за знакомого, служит им некоторым оправданием. Помню, Гаррис как-то рассказал мне один случай, который произошел с ним в Булони во время купанья. Он плавал недалеко от берега и вдруг почувствовал, что кто-то схватил его сзади за шею и потянул под воду. Гаррис яростно отбивался, но нападающий, видимо, был настоящий Геркулес, и все усилия Гарриса оказались тщетными. Наконец он перестал брыкаться и попробовал настроиться на торжественный лад, но тут его противник неожиданно выпустил его. Гаррис стал на ноги и оглянулся, ища своего возможного убийцу. Тот стоял рядом и весело хохотал. Но, увидев над водой лицо Гарриса, он отшатнулся, и вид у него был крайне смущенный.

— Извините, пожалуйста, — сконфуженно пробормотал он. — Я принял вас за своего приятеля.

Гаррис подумал, что ему еще повезло: если б его сочли за родственника, ему наверняка пришлось бы утонуть.

Чтобы ходить под парусом, тоже требуется умение и опыт, хотя в детстве я думал иначе. Мне казалось, что этому учишься походя, как игре в мяч или в пятнашки. У меня был приятель, который придерживался тех же взглядов, и в один ветреный день мы вздумали испробовать свои силы. Мы жили тогда в Ярмуте и решили прокатиться по реке Яр. Мы наняли парусную лодку на лодочной станции, возле моста, и пустились в путь.

— Сегодня довольно ненастная погода, — сказал лодочник, когда мы отчаливали. — Как зайдете за поворот, возьмите риф да лавируйте получше.

Мы ответили, что непременно так и сделаем, и уехали, весело крикнув лодочнику: «До свидания!» — и спрашивая себя, как это «лавируют», и откуда нам взять риф, и что мы будем с ним делать, когда его достанем.

Мы гребли до тех пор, пока город не скрылся из виду. Когда перед нами открылась широкая полоса воды, над которой ураганом носился ветер, мы решили, что пора приступать к действию.

Гектор — так, кажется, звали моего товарища — продолжал грести, и я начал разворачивать парус. Это оказалось нелегким делом, но в конце концов я справился с ним, и тут возник вопрос, который конец паруса верхний.

Следуя врожденному инстинкту, мы, разумеется, решили, что верх — это низ, и принялись ставить парус вверх ногами. Но нам потребовалось много времени, чтобы вообще как-нибудь прикрепить его. Парус, видимо, решил, что мы играем в похороны и что я покойник, а сам он изображает саван.

Обнаружив свою ошибку, он ударил меня по голове и решил вообще ничего не делать.

— Намочи его, — сказал Гектор. — Брось его за борт, пусть намокнет.

Он сказал, что матросы на кораблях всегда мочат паруса, прежде чем их ставить.

Я намочил парус, но от этого дело только ухудшилось. Если вокруг вас обвивается и бьет вас по ногам сухой парус, это достаточно неприятно, но когда парус мокрый, становится уж совсем обидно.

Наконец нам удалось общими усилиями поставить парус не совсем вверх ногами, а, скорее, боком, и мы привязали его к мачте фалинем, который отрезали для этой цели.

Лодка не опрокинулась — я просто констатирую этот факт. Почему она не опрокинулась, этому я не могу предложить никакого объяснения. Впоследствии я часто думал об этом, но мне так и не удалось удовлетворительно объяснить это обстоятельство.

Возможно, что такой результат есть следствие естественного упрямства всего существующего. Наблюдая наше поведение, лодка, возможно, пришла к выводу, что мы в это утро выехали на реку с целью самоубийства, и решила нам помешать. Это единственное объяснение, которое я могу придумать.

Уцепившись обеими руками за планшир, мы ухитрились не вылетать из лодки, но это была тяжелая работа. Гектор сказал, что пираты и другие люди, привыкшие ходить по морю, в сильную бурю привязывают к чему-то руль и спускают кливер, и предложил попробовать сделать что-нибудь в этом роде. Но я стоял за то, чтобы предоставить лодке идти по ветру.

Последовать моему совету было легче всего, и мы в конце концов так и сделали. Лодка неслась по реке примерно милю с такой скоростью, с

какой мне с тех пор ни разу не довелось ходить, да, по правде сказать, и не хотелось бы. Потом, на повороте, она так накренилась, что парус наполовину ушел в воду. Потом каким-то чудом выпрямилась и понеслась прямо на длинную плоскую отмель.

Эта отмель спасла нас. Лодка врезалась в нее до половины и остановилась. Почувствовав, что нас не бросает больше из стороны в сторону, словно горошины в мешке, и что мы можем двигаться по своему произволу, мы подползли к парусу и срезали его.

Мы уже довольно поплавали под парусом. Нам не хотелось злоупотреблять этим развлечением и пресытиться им.

Мы совершили хорошую, волнующую, интересную поездку под парусом и теперь решили разнообразия ради немного погрести.

Мы взяли весла и попробовали столкнуть лодку с отмели. При этом мы сломали одно весло. Мы повторили свою попытку, на этот раз с большей осторожностью, но оба весла явно никуда не годились, и второе разлетелось еще скорее, чем первое, оставив нас безоружными.

Перед нами тянулась отмель примерно ярдов на сто, а сзади нас была вода. Единственное, что нам оставалось делать, — это сидеть и ждать, пока кто-нибудь не проедет мимо.

Погода была не такая, чтобы привлечь людей на реку, и прошло три часа, прежде чем в поле зрения появилось первое человеческое существо. Это был старый рыбак; ему с невероятным трудом удалось наконец нас выручить, и мы были самым позорным образом доставлены на буксире к пристани.

Вознаграждение человеку, который нас выручил, расплата за сломанные весла и пользование лодкой в течение четырех с половиной часов — все это поглотило изрядное количество наших карманных денег на много недель вперед. Но мы приобрели опыт, а за это, как говорят, ничего не жалко отдать.

## Глава шестнадцатая

Рэдинг. — Нас ведет на буксире паровой баркас. — Нахальное поведение маленьких лодок. — Как они мешают паровым баркасам. — Джордж и Гаррис снова уклоняются от работы. — Одна банальная история. — Стритли и Горинг.

Мы подъехали к Рэдингу часов около одиннадцати. Река в этом месте грязная и унылая. В окрестностях Рэдинга не хочется задерживаться надолго.

Рэдинг — старинный, знаменитый городок, основанный в далекие дни короля Этельреда, когда датчане поставили свои военные корабли в бухте Кеннет и, основавшись в Рэдинге, совершали набеги на Эссекс. Тут Этельред со своим братом Альфредом дали датчанам бой и разбили их, причем Этельред главным образом молился, а Альфред сражался.

В более поздние годы на Рэдинг, по-видимому, смотрели как на приятное местечко, куда можно было бежать, когда в Лондоне становилось скверно. Парламент обычно переезжал в Рэдинг всякий раз, как в Вестминстере объявлялась чума. В 1625 году юстиция последовала его примеру, и все заседания суда происходили в Рэдинге. На мой взгляд, лондонцам стоило претерпеть какую-нибудь пустяковую чуму, чтобы разом избавиться и от юристов, и от парламента.

Во время борьбы парламента с королем Рэдинг был осажден графом Эссексом, а четверть века спустя принц Оранский разбил под Рэдингом войска короля Иакова.

Генрих Первый похоронен в Рэдинге, в Бенедиктинском аббатстве, которое он сам основал и развалины которого сохранились до наших дней. В этом же самом аббатстве славный Джон Гонт был обвенчан с леди Бланш.

У Рэдингского шлюза мы поравнялись с паровым баркасом, принадлежащим одним моим знакомым, и нас подвезли на буксире почти до самого Стритли. Это очень приятно — идти на буксире за баркасом. Лично мне это нравится гораздо больше, чем гребля. Поездка была бы еще приятнее, если бы не множество маленьких лодчонок, которые все время сновали вокруг нашего баркаса. Чтобы не утопить их, нам то и дело приходилось замедлять ход и останавливаться. У этих веселых лодок пренеприятная привычка путаться на реке перед паровыми баркасами. Против них необходимо принять какие-то меры. И они к тому же еще такие

нахальные, эти лодки. Чтобы они соблаговолили поторопиться, приходится так свистеть, что котел чуть не лопается. Будь на то моя воля, я бы время от времени топил парочку лодок, чтобы хорошенько их проучить.

Выше Рэдинга река становится очень приятной. У Тайлхерста ее несколько портит железная дорога, но от Мэплдерхэма до Стритли вид прямо великолепный. Несколько выше шлюза стоит Хардвик-Хаус, где Карл Первый играл в шары. Окрестности Пэнгборна, где находится прелестная гостиница «Лебедь», вероятно, столь же хорошо знакомы завсегдатаям картинных выставок, как и обитателям этой местности.

Мы отцепились от баркаса моих знакомых, немного не доезжая грота, и Гаррис принялся доказывать, что теперь моя очередь грести. Это показалось мне совершенно необоснованным. Утром мы условились, что я проведу лодку на три мили выше Рэдинга. Но ведь теперь мы были выше Рэдинга на десять миль! Конечно, грести надо было опять Гаррису и Джорджу.

Однако я не мог склонить ни того, ни другого к своей точке зрения и, чтобы не спорить напрасно, взялся за весла. Не успел я проработать и минуту, как мы увидели на реке какой-то черный предмет и приблизились к нему. Джордж наклонился и схватил этот предмет, но тотчас же с криком отшатнулся, бледный как полотно.

Это было тело мертвой женщины. Оно легко плыло по воде, и лицо утопленницы было кротко и спокойно. Его нельзя было назвать красивым, это лицо. Оно преждевременно состарилось, высохло и исхудало. Но это было милое и приятное лицо, несмотря на следы нужды и бедности, и на нем лежал отпечаток безмятежного спокойствия, которое мы часто видим на лице больных, когда их страдания наконец прекращаются.

На наше счастье, — нам вовсе не хотелось таскаться по судам и следователям — какие-то люди на берегу тоже заметили утопленницу и взяли на себя заботу о ней.

Впоследствии мы узнали историю этой женщины. Разумеется, это была обыкновенная, пошлая трагедия. Она любила и была обманута или сама обманулась. Так или иначе, она согрешила — это со многими из нас случается, — и ее знакомые и родные, охваченные справедливым негодованием, захлопнули перед ней двери своих домов.

Вынужденная бороться с судьбой одна, неся на шее ярмо своего позора, она опускалась все ниже и ниже. Сначала ей удавалось содержать себя и ребенка на двенадцать шиллингов в неделю, которые она получала, работая по двенадцать часов в день. Шесть шиллингов она платила за содержание ребенка, а на остальные пыталась кое-как удержать душу в



теле.

Шесть шиллингов в неделю связывают тело с душой не слишком крепко. Соединенные столь хрупкими узами, они все время пытаются расстаться. И однажды, вероятно, несчастная особенно ясно увидела свою жизнь во всем ее тоскливом однообразии, со всеми ее страданиями, и насмешливая тень смерти испугала ее. В последний раз обратилась она за помощью к друзьям, но, оградившись ледяной стеной респектабельности, они не услышали голоса отверженной. Тогда она съездила повидать своего ребенка, с каким-то тупым равнодушием взяла его на руки и поцеловала, не проявляя никаких чувств, и потом ушла, сунув ему в руку коробку грошовых конфет. На свои последние шиллинги она взяла билет и приехала в Горинг.

Как видно, горчайшие переживания ее жизни были связаны с лесистыми берегами и веселыми зелеными лужайками, окружающими Горинг. Но женщины почему-то любят гладить нож, который нанес им рану. А может быть, к горечи примешивались солнечные воспоминания о лучших часах, проведенных близ овечьих тенью струй, над которыми развесистые деревья так низко склоняют свои ветви.

Весь день пробродила она по лесу, что тянется вдоль берега реки. Потом, когда серые сумерки раскинули над водой свой темный плащ, она протянула руки к безмолвной реке, которая знала ее горести и радости. И старая река любовно приняла ее в объятия, прижала ее усталую голову к своей груди и успокоила боль. Так согрешила эта женщина во всем — и в жизни и в смерти. Мир праху ее и всех других грешников...

Горинг на левом берегу реки и Стритли на правом — очаровательные местечки, в которых приятно провести несколько дней. Воды реки до самого Пэнгборна так и манят поплавать в солнечный день под парусом или выехать в лунную ночь на лодке, а окружающий вид очень красив. Мы намеревались дойти в этот день до Уоллингфорда, но улыбка реки соблазнила нас остаться. Привязав лодку у моста, мы отправились в Стритли и позавтракали в гостинице «Бык» к великому удовольствию Монморенси.

Говорят, что горы, высящиеся на обоих берегах реки, когда-то соединялись и преграждали течение нынешней Темзы. Река будто бы оканчивалась несколько выше Горинга, образуя большое озеро. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение. Я просто отмечаю его.

Стритли — старинное местечко, основанное, как большинство прибрежных городов и поселков, во времена бриттов и саксов. В Стритли куда приятнее останавливаться, чем в Горинге, если у вас есть возможность

выбирать, но сам по себе Горинг достаточно красив и к тому же расположен ближе к железной дороге, что имеет значение, если вы хотите удрать из гостиницы, не заплатив по счету.

## Глава семнадцатая

Стирка. — Рыба и рыбаки. — Об искусстве ужения. — Добросовестный удильщик на муху. — Рыбацкая история.

Мы пробыли в Стритли два дня и отдали наше платье в стирку. Мы сами пробовали стирать его в реке под наблюдением Джорджа, но это окончилось неудачей. Поистине это можно назвать больше чем неудачей, так как после стирки мы оказались в еще худшем положении, чем прежде. Перед стиркой наше платье было, правда, очень грязно, но его все-таки можно было носить. А после того как мы его постирали... Скажем кратко: вода в реке между Рэдингом и Хэнли стала после этого много чище. Мы собрали во время стирки всю грязь, которая скопилась в реке между Рэдингом и Хэнли, и, так сказать, смыли ее в наше платье.

Стритлейская прачка сказала, что считает себя обязанной взять с нас за стирку втрое дороже обычной платы. Она заявила, что, пока работала, чувствовала себя не прачкой, а скорее, землекопом.

Мы заплатили по счету без единого слова.

Окрестности Горинга и Стритли — излюбленное место рыболовов. Река изобилует щуками, плотвой, угрями, уклейкой, и можно целый день сидеть на берегу и удить.

Некоторые люди так и делают. Но у них ничего не ловится. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь поймал что-нибудь в Темзе, кроме пескарей и дохлых кошек, а эти создания явно не имеют отношения к рыбной ловле! Местный «Путеводитель рыбака» ни слова не говорит о поимке рыбы. Он ограничивается замечанием, что Горинг — прекрасное место для рыбной ловли. Судя по тому, что мне пришлось видеть, я вполне готов поддержать это утверждение. Нет другого места на земле, где вы могли бы больше наслаждаться рыбной ловлей или удить в течение более долгого времени. Некоторые рыболовы приезжают сюда и удят весь день, другие остаются удить на месяц. Вы можете продлить это занятие и удить целый год — разницы не будет.

В «Спутнике рыболова на Темзе» сказано, что «здесь водятся щуки и окуни». Да, щуки и окуни, может быть, и водятся в Темзе. Я даже наверное знаю, что это так. Гуляя по берегу, вы можете видеть их целые стаи. Они подплывают и высовываются из воды, раскрывая рот в надежде получить печенью. А когда вы купаетесь, они плотным кольцом окружают вас,

мешают плавать и действуют на нервы. Но чтобы поймать их на крючок с червяком на конце или на что-нибудь подобное — этого не случается.

Сам я неважный рыболов. Некогда я посвящал этому занятию много внимания, и дело, как мне казалось, шло хорошо. Но опытные рыбаки сказали, что из меня никогда не выйдет толку, и посоветовали мне отступить. Они говорили, что я очень неплохо закидываю удочку и, видимо, обладаю большой смекалкой и совершенно достаточной врожденной ленью. Но, по их глубокому убеждению, рыбак из меня не получится. У меня слишком мало воображения.

Они говорили, что в роли поэта, автора уголовных романов, репортера или чего-нибудь в этом роде я, может быть, и добьюсь успеха. Но чтобы создать себе имя в качестве удильщика на Темзе, нужно больше, чем у меня, фантазии, больше способности к выдумке.

Многие считают, что от хорошего рыболова требуется только умение легко, не краснея, врать. Но это глубокое заблуждение. Голое вранье бесполезно, на это способен любой новичок. Обстоятельные подробности, изящные правдоподобные штрихи, общее впечатление щепетильной, почти педантической правдивости — вот что характерно для опытного рыбака.

Каждый может войти и сказать: «Знаете, вчера вечером я поймал пятнадцать дюжин окуней» — или: «В прошлый понедельник я вытащил пескаря весом в восемнадцать фунтов и длиной в три фута от головы до хвоста».

Для этого не требуется искусства или умения. Это свидетельствует всего лишь о смелости.

Нет, настоящий рыбак не стал бы врать таким образом. Его система — это целая наука.

Он спокойно входит, не снимая шляпы усаживается на самый удобный стул, закуривает трубку и молча пускает клубы дыма. Он дает молодежи вволю похвастаться и, воспользовавшись минутой тишины, вынимает трубку изо рта и говорит, выколачивая ее о решетку камина:

— Н-да... Во вторник вечером мне удалось выловить такое, что, пожалуй, об этом не стоит и говорить.

— Почему? — восклицают все разом.

— Потому что, если я и расскажу, мне вряд ли поверят, — спокойно отвечает старик без тени горечи в голосе. Он снова набивает трубку и просит трактирщика принести ему три рюмки шотландской.

Наступает пауза, никто не чувствует в себе достаточной уверенности, чтобы оспаривать мнение старого джентльмена. Тому приходится продолжать, не дожидаясь поддержки.

— Нет, — говорит он задумчиво, — я бы и сам не поверил, если бы мне рассказали такое. Но тем не менее это факт. Я весь день просидел на берегу и не поймал буквально ничего — только несколько дюжин уклеек и штук двадцать щук. Я уже собирался бросить это дело, как вдруг чувствую — удочку здорово дернуло. Я подумал, что это опять какая-нибудь мелочь, и хотел подсечь. И что же? Удочка ни туда, ни сюда. Мне потребовалось полчаса — да-с, полчаса, — чтобы вытащить эту рыбу, и каждую минуту я думал, что леса оборвется. Наконец я ее вытащил, и что же, вы думаете, это оказалось? Осетр!.. Сорок фунтов весом! Да-с, на удочку! Удивительно? Конечно. Эй, хозяин, еще три рюмки шотландской!

Потом он рассказывает, как поражены были все, кто видел эту рыбу, и что сказала жена, когда он пришел домой, и какого мнения об этом случае Джо Баггс.

Как-то раз я спросил хозяина одного прибрежного трактира, не противно ли ему слушать рассказы местных рыбаков. Он ответил:

— Нет, сэр, теперь — нет. Сначала я, правда, немного шалел, но теперь ничего, мы с хозяйкой можем хоть целый день их слушать. Дело привычки, знаете, дело привычки.

У меня был один знакомый. Это был очень добросовестный молодой человек, и когда он начал удить на муху, то решил не преувеличивать своего улова больше, чем на двадцать пять процентов.

— Если я поймаю сорок штук, — говорил он, — я буду рассказывать, что поймал пятьдесят, и так далее. Но больше я прибавлять не буду, потому что врать — грех.

Двадцатипятипроцентный план действовал очень плохо. Моему знакомому никак не удавалось его применить. Он ловил за день самое большое три рыбы, а к трем не прибавишь двадцать пять процентов, по крайней мере в рыбах.

Тогда мой знакомый повысил процент до тридцати трех с третью. Но это тоже оказывалось неудобно, если ему удавалось выловить одну рыбу или две. Наконец, чтобы упростить дело, он решил увеличивать свой улов ровно вдвое.

Месяца два он соблюдал это правило, но потом ему надоело. Никто не верил, что он только удваивает, и это несколько не улучшало его репутации; в то же время его умеренность ставила его в невыгодное положение в сравнении с другими рыболовами. Когда он ловил каких-нибудь три рыбешки, то говорил, что поймал шесть, и ему было очень обидно слушать, как человек, который заведомо поймал только одну рыбу, ходил и рассказывал, что вытащил две дюжины.

Наконец мой знакомый заключил сам с собой условие, которого свято придерживается до сих пор: каждую пойманную им рыбу он решил считать за десять, и притом всегда начинает счет с десяти. Если, например, ему не удавалось поймать ни одной рыбы, он говорил, что поймал десять. По его счету нельзя было поймать меньше десяти рыб, — в этом заключалась основа его системы. Когда же он ухитрялся выловить одну рыбу, то считал ее за двадцать, две рыбы шли за тридцать, три — за сорок и так далее.

Этот план прост и легко осуществим. Недавно шли даже разговоры о том, чтобы распространить его на всю удыщую братию. Правление Ассоциации удильщиков на Темзе года два тому назад действительно рекомендовало его принять. Но несколько старейших членов запротестовали. Они сказали, что готовы рассмотреть этот план, если исходная цифра будет удвоена и каждая рыба пойдет за двадцать.

Если вы будете на реке и у вас окажется свободный вечер, советую вам зайти в какой-нибудь маленький деревенский трактир и сесть в распивочной. Вы почти наверняка застанете там несколько старых удильщиков за стаканом грога, и они в полчаса расскажут достаточно рыбных историй, чтобы расстроить вам желудок на целый месяц.

Я и Джордж... (Я не знаю, что случилось с Гаррисом: сразу после завтрака он пошел побриться, а вернувшись, целых сорок минут наводил глянец на свои башмаки; после этого мы его не видели.) Итак, я, Джордж и собака, предоставленные самим себе, на второй день вечером пошли прогуляться в Уоллингфорд. На обратном пути мы заглянули в маленький трактирчик, чтобы отдохнуть и подкрепиться.

Мы вошли в зал и сели. В зале находился какой-то старик, кутивший длинную глиняную трубку. Естественно, мы разговорились с ним.

Старик сказал, что сегодня хорошая погода. Мы сказали, что вчера тоже была хорошая погода. Затем мы сообщили друг другу, что завтра, вероятно, тоже будет хорошая погода. Джордж сказал, что хлеба, кажется, всходят недурно.

Потом каким-то образом всплыло, что мы нездешние и завтра утром уезжаем.

После этого в разговоре наступила пауза. Мы рассеянно оглядывали комнату, и наши глаза остановились на старом, пыльном стеклянном ящике, подвешенном высоко над камином.

В ящике лежала форель. Эта форель прямо-таки обворожила меня: это была совершенно чудовищная рыба. Сначала я даже принял ее за треску.

— А, — сказал старый джентльмен, заметив, на что я смотрю. — Замечательный экземпляр, не правда ли?

— Совершенно необычайный!.. — пробормотал я, а Джордж спросил старика, сколько эта рыба, по его мнению, весит.

— Восемнадцать фунтов и шесть унций, — ответил старик, поднимаясь и снимая пиджак. — Да, — продолжал он, — третьего числа следующего месяца будет шестнадцать лет, как я ее вытащил. Я поймал ее на уклейку у самого моста. Мне сказали, что она плавает в реке, и я сказал, что поймаю ее, и поймал. Теперь такой рыбы здесь не увидишь. Спокойной ночи, джентльмены, спокойной ночи.

И он вышел, оставив нас одних.

Мы не могли отвести глаз от этой рыбы. Рыба действительно была замечательная. Мы все еще глядели на нее, когда в комнату вошел только что подъехавший к трактиру местный извозчик с кружкой пива в руке и тоже посмотрел на рыбу.

— Изрядная форель, а? — сказал Джордж, поворачиваясь к нему.

— Да, сэр, это про нее вполне можно сказать, — ответил извозчик, и, отхлебнув пива, прибавил: — Может быть, вас здесь не было, сэр, когда ее поймали?

— Нет, — ответили мы ему. — Мы здесь чужие.

— Ах, вот как, — сказал извозчик. — Ну, тогда вы, конечно, не можете знать. Вот уже без малого пять лет, как я поймал эту рыбу.

— Как! Разве это вы ее поймали? — спросил я.

— Да, — ответил добродушно старик. — Я поймал ее у самого шлюза (тогда здесь еще был шлюз) как-то после обеда, в пятницу. И самое удивительное — поймал на муху. Я собирался ловить щук, право слово, и даже не думал о форелях, и когда я увидел на конце удочки эту громадину, то, ей-богу, совсем ошалел. В ней оказалось двадцать шесть фунтов. До свиданья, джентльмены, до свиданья.

Через пять минут вошел третий человек и рассказал, как он поймал эту форель на червяка, и ушел. Потом появился какой-то невозмутимый, серьезный на вид джентльмен средних лет и сел у окна.

Некоторое время мы молчали. Наконец Джордж обратился к пришедшему:

— Простите, пожалуйста... Надеюсь, вы извините, что мы, совершенно чужие в этих краях люди, позволяем себе такую смелость... Но я и мой приятель были бы вам чрезвычайно обязаны, если бы вы рассказали, как вам удалось поймать эту форель.

— А кто вам сказал, что это я поймал ее? — последовал удивленный вопрос.

Мы ответили, что никто нам этого не говорил, но мы инстинктивно

чувствуем, что это сделал именно он.

— Удивительная вещь, — со смехом воскликнул серьезный джентльмен, — совершенно удивительная! Ведь вы угадали. Я в самом деле поймал ее. Но как вам удалось это узнать? Право, удивительно! В высшей степени удивительно!

И он рассказал нам, как целых полчаса тащил эту рыбу и как она сломала удилище. Придя домой, он тщательно ее взвесил, и стрелка показала тридцать шесть фунтов.

После этого он тоже удалился, и, когда он ушел, к нам заглянул хозяин трактира. Мы рассказали ему все, что слышали об этой форели, и это очень его позабавило. Мы все от души хохотали.

— Так, значит, Джим Бэйтс, и Джо Магглс, и мистер Джонс, и старый Билли Маундерс говорили вам, что они ее поймали? Ха-ха-ха! Вот это здорово! — восклицал честный старик, весело смеясь. — Как же! Такие они люди, чтобы отдать эту форель мне и позволить повесить ее в моем трактире, если они сами ее поймали. Как бы не так. Ха-ха-ха!

И он рассказал нам правду об этой форели. Оказалось, что это он поймал ее много лет назад, когда был еще совсем мальчишкой. Ему помогло не искусство, не умение, а то непонятное счастье, которое, кажется, всегда поджидает шалуна, удирающего из школы, чтобы поудить в солнечный день на веревочку, привязанную к ветке.

Он говорил, что, принеся домой эту форель, избежал здоровой порки и что даже школьный учитель сказал, что такая форель стоит тройного правила и умножения многозначных чисел, вместе взятых.

В эту минуту трактирщика вызвали из комнаты, и мы с Джорджем снова обратили взоры на форель.

Это, право же, была удивительная рыба. Чем больше мы смотрели на нее, тем больше изумлялись.

Джордж до того заинтересовался ею, что влез на спинку стула, чтобы рассмотреть получше. И вдруг стул качнулся, и Джордж изо всех сил вцепился в ящик, чтобы удержаться, и ящик полетел вниз вместе со стулом и Джорджем.

— Рыба! Ты не испортил рыбу? — испуганно крикнул я, бросаясь к Джорджу.

— Надеюсь, что нет, — сказал Джордж и осторожно поднялся. Но он все же испортил рыбу. Форель лежала перед нами, разбитая на тысячу кусков (я говорю — тысячу, но, может быть, их было и девятьсот, — я не считал). Нам показалось странным и непонятным, что чучело форели разбилось на такие маленькие кусочки.



Это было бы действительно странно и непонятно, будь перед нами настоящее чучело форели. Но это было не так. Форель была гипсовая!

## Глава восемнадцатая

Шлюзы. — Меня и Джорджа фотографируют. — Уоллингфорд. — Дорчестер. — Эбингдон. — Отец семейства. — Здесь удобно тонуть. — Трудный участок реки. — Дурное влияние речного воздуха.

На следующий день, рано утром, мы покинули Стритли, поднялись до Келхэма и ночевали там в заводи под брезентом.

Между Стритли и Уоллингфордом река не особенно интересна. От Клива на протяжении шести с половиной миль нет ни одного шлюза. Это, пожалуй, самый длинный свободный участок реки выше Теддингтона, Оксфордский клуб тренирует на нем свои восьмерки.

Но как бы ни было приятно отсутствие шлюзов для гребцов, оно огорчает тех, кто ищет на реке удовольствия.

Лично я очень люблю шлюзы. Они так приятно нарушают однообразие гребли. Мне нравится сидеть в лодке и медленно подниматься из прохладных глубин в новые воды, к незнакомым видам, или опускаться, словно покидая мир, и ждать, пока не заскрипят мрачные ворота и узкая полоска дневного света не начнет все больше и больше расширяться. И вот прекрасная, улыбающаяся река вся лежит перед вами, и вы снова толкаете вашу лодочку из недолгого заточения в приветливые струи.

Что за живописные пятна на реке эти шлюзы! Толстый старый сторож, его веселая жена или ясноглазая дочка — милые люди, с которыми приятно поболтать мимоходом. Вы встречаете там другие лодки и обмениваетесь речными сплетнями. Без своих обсаженных цветами шлюзов Темза не была бы таким волшебным местом.

Говоря о шлюзах, я вспомнил, как однажды летом, у Хэмптон-Корта, мы с Джорджем чуть не погибли. Погода стояла великолепная, и шлюз был полон. Как часто бывает на реке, какой-то расчетливый фотограф снимал наши лодки, качавшиеся на прибывающей воде.

Я не сразу сообразил, в чем дело, и поэтому очень удивился, увидав, что Джордж торопливо приглаживает брюки, взбивает волосы и залихватски сдвигает фуражку на затылок. Потом, придав своему лицу приветливое и слегка печальное выражение, он принял изящную позу, стараясь куда-нибудь спрятать ноги.

Сначала я подумал, что Джордж увидел какую-нибудь знакомую девушку, и оглянулся, чтобы посмотреть, кто это. Все, кто был на реке,

сразу словно окоченели. Они стояли и сидели в самых странных и нелепых позах, какие мне приходилось видеть только на японских веерах. Девушки, все до одной, улыбались. Они выглядели такими милыми! А мужчины нахмурили брови и казались благородными и серьезными.

Тут истина вдруг открылась мне, и я испугался, что опоздаю. Наша лодка была первая, и мне казалось, что с моей стороны будет невежливо испортить фотографу снимок. Я быстро обернулся и занял позицию на носу, с небрежным изяществом опираясь на багор. Моя поза говорила о силе и ловкости. Я привел волосы в порядок, спустив одну прядь на лоб, и придал лицу выражение ласковой грусти, смешанной с цинизмом. Оно, как говорят, мне идет. Мы стояли и ждали торжественного момента. И вдруг я услышал сзади крик:

— Эй, посмотрите на свой нос!

Я не мог повернуться и поглядеть, в чем дело и на чей нос нам надлежало смотреть. Я бросил украдкой взгляд на нос Джорджа. С ним все было в порядке — во всяком случае в нем ничего нельзя было исправить. Скосив глаза на свой собственный нос, я убедился, что он не хуже, чем я думал.

— Посмотрите на свой нос, осел вы этакий! — раздался тот же голос, но уже громче.

После этого другой голос крикнул:

— Вытолкните свой нос, эй, вы там, двое, с собакой!

Ни я, ни Джордж не осмеливались повернуться. Рука фотографа лежала на колпачке объектива, и он каждую секунду мог сделать снимок. Неужели они кричали нам? Что же случилось с нашими носами? Почему их надо было вытолкнуть?

Но теперь кричал уже весь шлюз, и чей-то громовой голос сзади нас гаркнул;

— Посмотрите на вашу лодку, сэр! Эй, вы, в красных с черным фуражках! Если вы не поторопитесь, на снимке выйдут только ваши трупы.

Тут мы посмотрели и увидели, что нос нашей лодки застрял между сваями шлюза, а вода все прибывала и поднимала нас. Еще минута, и мы бы опрокинулись. Быстрее молнии мы схватили по веслу; сильный удар рукояткой о боковину шлюза освободил лодку, и мы полетели на спину. Мы с Джорджем не особенно хорошо вышли на этой фотографии. Как и следовало ожидать, нам уж так повезло, что фотограф пустил свой несчастный аппарат в действие как раз тогда, когда мы оба с растерянным видом лежали на спине и отчаянно болтали ногами в воздухе.

Наши ноги несомненно были «гвоздем» этой фотографии. По правде

говоря, кроме них, почти ничего не было видно. Они занимали весь передний план. За ними можно было разглядеть очертания других лодок и кусочки окружающего пейзажа; но все это в сравнении с нашими ногами выглядело таким ничтожным и незначительным, что остальные катающиеся почувствовали себя совсем пристыженными и отказались приобрести фотографию. Владелец одного из баркасов, заказавший шесть карточек, аннулировал заказ, когда ему показали негатив. Он сказал, что возьмет их, если кто-нибудь покажет ему его баркас, но никто не мог этого сделать. Он был где-то позади правой ноги Джорджа.

С этой фотографией вышло много неприятностей. Фотограф считал, что мы обязаны взять по дюжине экземпляров, так как снимок на девять десятых состоял из наших изображений, но мы отказались. Мы заявили, что не протестуем против того, чтобы нас снимали во весь рост, но предпочитаем быть увековеченными в вертикальном положении.

Уоллингфорд, в шести милях вверх от Стритли, — очень древний город, который деятельно участвовал в создании английской истории. Во времена бриттов это был город с грубыми глиняными сооружениями, но потом римские легионы изгнали бриттов и на месте глиняных валов воздвигли мощные стены, которые не смогло свалить даже Время, так искусно они были сложены древними каменщиками.

Но Время, остановившееся перед римскими стенами, самих римлян превратило в прах; позднее на этих землях сражались дикие саксы и огромные датчане, потом пришли норманны.

До парламентской войны город был обнесен стенами и укреплениями, но Фэрфакс подверг его долгой и жестокой осаде, город пал, и стены сровняли с землей.

От Уоллингфорда к Дорчестеру окрестности реки становятся более гористыми, разнообразными и живописными. Дорчестер стоит в полумиле от реки. Если лодка у вас маленькая, до него можно добраться по речушке Тем. Но лучше всего оставить лодку у шлюза Дэй и отправиться пешком через поля. Дорчестер — красивое старинное местечко, приютившееся среди тишины, спокойствия, дремоты.

Так же как и Уоллингфорд, Дорчестер в древности был городом; тогда он назывался Каер Дорен — «город на воде». Позднее римляне создали там большой лагерь; укрепления, которые окружали его, теперь кажутся низкими, ровными холмиками. Во времена саксов он был столицей Уэссекса. Город очень древний, некогда он был сильным и большим. А теперь он стоит в стороне от шумной жизни, клюет носом и видит сны.

В окрестностях Клифтон-Хэмпдена, красивой дереушки,

старомодной, спокойной, изящной благодаря своим цветникам, берега реки очень колоритны и красивы. Если вы собираетесь переночевать в Клифтоне, лучше всего остановиться в «Ячменном Стоге». Можно смело сказать, что это самая оригинальная, самая старинная гостиница на всей реке. Она стоит справа от моста, в стороне от деревни. Высокая соломенная крыша и решетчатые окна придают ей сказочный вид, внутри пахнет стариной еще больше.

Для героини современного романа это было бы неподходящее место. Героиня современного романа всегда «царственно высока», и она то и дело «выпрямляется во весь рост». В «Ячменном Стоге» она бы каждый раз стукалась головой о потолок.

Для пьяного эта гостиница тоже не подошла бы. Ему на каждом шагу встречались бы разные неожиданности в виде ступенек, по которым надо то спускаться, то подниматься, чтобы попасть в другую комнату, а уж подняться в спальню или найти свою постель — это было бы для него совершенно невыносимо.

На следующее утро мы встали рано, нам хотелось к полудню попасть в Оксфорд. Просто удивительно, как рано человек может встать, когда ночует на открытом воздухе. Лежа на досках, завернувшись в плед, с саквояжем под головой вместо подушки, не так хочется «вздремнуть еще пять минут», как если бы ты нежился в мягкой постели. К половине девятого мы уже позавтракали и прошли Клифтонский шлюз.

От Клифтона до Кэлхэма берега реки низкие, однообразные, неинтересные. Но как только минуешь Кэлхэмский шлюз — самый холодный и глубокий, — пейзаж оживает.

В Абингдоне река протекает под самыми улицами. Абингдон — типичный провинциальный городок, спокойный, в высшей степени респектабельный, чистый и безнадежно скучный. Он гордится своей древностью, но вряд ли он может сравниться в этом с Уоллингфордом и Дорчестером. Некогда здесь было известное аббатство, но теперь под остатками его священных сводов варят горький эль.

В церкви св. Николая в Абингдоне стоит памятник Джону Блэкуоллу и его жене Джейн, которые, счастливо прожив жизнь, скончались в один день, 21 августа 1625 года; а в церкви св. Елены есть запись, в которой говорится, что У. Ли, умерший в 1637 году, «имел потомства от чресл своих без трех двести». Если сообразить, что это значит, то окажется, что семья мистера У. Ли насчитывала сто девяносто семь человек. Мистер У. Ли, пять раз избиравшийся мэром Абингдона, без сомнения, был благодетелем для своего поколения; но я надеюсь, что в наш перенаселенный век не много

найдется ему подобных.

От Абингдона до Нунхэма Кортени тянутся красивые места. Поместье Нунхэм-парк заслуживает внимания. Его можно осматривать по вторникам и четвергам. В доме есть прекрасная коллекция картин и редкостей, и сам парк очень красив.

Заводь у Сэндфордской запруды — подходящее место для того, чтобы утопиться. Нижнее течение здесь очень сильно, и если попадешь в него — все в порядке. Обелиском отмечено место, где утонули уже двое во время купанья; теперь со ступенек обелиска ныряют молодые люди, которые хотят убедиться, действительно ли это место так опасно.

Шлюз и мельница Иффли, в миле от Оксфорда, — излюбленный сюжет художников, которые пишут речные пейзажи. Но в жизни они много хуже, чем на картинах. Я уже заметил, что в этом мире очень немногие вещи полностью отвечают своим изображениям.

Мы миновали шлюз Иффли в половине первого и потом, прибрав лодку и сделав все приготовления к высадке, налегли на весла, чтобы отработать последнюю милю. Участок реки между Иффли и Оксфордом, насколько я знаю, один из самых трудных. Я проходил этот участок неоднократно, но так и не смог постичь его. Человек, который сумеет грести по прямой от Иффли до Оксфорда, наверное, в состоянии ужиться под одной крышей со своей женой, тещей, старшей сестрой и служанкой, которая работала у них, когда он был еще маленьким.

Сначала течение тянет вас к правому берегу, потом к левому, потом выносит на середину, три раза поворачивает и снова несет вверх по реке, все время стараясь вас разбить о какую-нибудь баржу.

Вследствие всего этого мы, разумеется, помешали за эту милю многим лодкам, и многие лодки помешали нашей, а вследствие этого было, разумеется, сказано много крепких слов.

Не знаю почему, но на реке все становятся до крайности раздражительными. Мелкие неприятности, которых вы просто не заметили бы на суше, приводят вас в исступление, если случаются на воде. Когда Джордж и Гаррис валяют дурака на твердой земле, я только снисходительно улыбаюсь, если же они делают глупости на реке, я ругаю их последними словами. Когда мне мешает проехать чужая лодка, я испытываю желание взять весло и перебить всех, кто в ней сидит.

Самые тихие люди, сядя в лодку, становятся дикими и кровожадными. Я однажды катался с одной барышней. От природы это была особа необычайно кроткая и ласковая, но на реке ее было прямо-таки страшно слушать.

«Черт его подери! — кричала эта особа, когда какой-нибудь несчастный гребец мешал ей проехать. — Чего он смотрит, куда его несет?». «Вот дрянь!» — с негодованием восклицала она, когда парус не хотел подниматься, и, грубо схватив его, трясла, как дерюгу.

На берегу же, повторяю, она была приветлива и добра.

Речной воздух губительно действует на характер, и в этом, я думаю, причина, почему даже лодочники иногда грубы друг с другом и допускают выражения, о которых в более спокойную минуту, несомненно, готовы пожалеть.

## Глава девятнадцатая

Оксфорд. — Представление Монморенси о рае. — Наемная лодка, ее прелести и преимущества. — «Гордость Темзы». — Погода меняется. — Река в разных видах. — Не слишком веселый вечер. — Стремление к недостижимому. — Оживленная болтовня. — Джордж исполняет пьесу на банджо. — Унылая мелодия. — Снова дождливый день. — Бегство. — Легкий ужин, заканчивающийся тостом.

Мы провели в Оксфорде два приятных дня. В городе Оксфорде много собак. Монморенси участвовал в первый день в одиннадцати драках, во второй — в четырнадцати и, несомненно, решил, что попал в рай.

Люди, по врожденной лени или слабости неспособные наслаждаться тяжелым трудом, обычно садятся в лодку в Оксфорде и гребут вниз. Однако для человека энергичного путешествие вверх по реке несомненно приятнее. Нехорошо все время плыть по течению. Гораздо больше удовольствия, напрягая спину, бороться с ним, идти вперед наперекор ему, — по крайней мере, мне так кажется, когда Гаррис с Джорджем гребут, а я правлю рулем.

Тем, кто намерен избрать Оксфорд отправным пунктом, я посоветую: запаситесь собственной лодкой (если, конечно, вы не можете взять чужую без риска, что это обнаружится). Лодки, которые сдаются внаем на Темзе, выше Марло, как правило, очень хороши. Они почти не протекают, и если осторожно с ними обращаться, редко разваливаются на куски или тонут. В них есть на чем сесть, и они снабжены всеми или почти всеми приспособлениями для того, чтобы грести и править рулем.

Но они не украшают реки. В лодке, которую вы нанимаете на реке выше Марло, нельзя задаваться и важничать. Наемная лодка живо заставляет своих пассажиров прекратить подобные глупости. Это ее главное и, можно сказать, единственное достоинство. Человек в наемной лодке становится скромным и застенчивым. Он предпочитает держаться на теневой стороне под деревьями и совершает большую часть пути рано утром или поздно вечером, когда его могут видеть на реке лишь немногие. Если человек, находящийся в такой лодке, видит знакомого, он выходит на берег и прячется за дерево.

Однажды я был в одной компании, которая как-то летом наняла на несколько дней лодку, чтобы покататься. Никто из нас до тех пор не видел наемной лодки, и когда мы увидели ее, то не поняли, что это такое.

Мы заранее написали, что нам потребуется обыкновенная



четырехвесельная лодка. Когда мы пришли с чемоданами на пристань и назвали себя, лодочник сказал:

— Ага! Вы та компания, которой нужна четырехвесельная? Прекрасно! Джим, приведи-ка сюда «Гордость Темзы».

Мальчик ушел и через пять минут вернулся, с трудом толкая вперед какой-то допотопный деревянный обрубок. Его как будто недавно откуда-то выкопали, и притом выкопали неосторожно, так что он от этого пострадал.

При первом взгляде на этот предмет я решил, что вижу перед собой остатки чего-то древнеримского; чего именно, неизвестно — вероятнее всего, гроба.

Местность в районе верхней Темзы богата древнеримскими реликвиями, и мое предположение казалось мне вполне правдоподобным, но один из членов нашей компании, серьезный молодой человек, немного причастный к геологии, поднял мою древнеримскую теорию на смех. Он заявил, что всякому сколько-нибудь разумному человеку (он явно сожалел, что не может отнести меня к этой категории людей) ясно, что предмет, найденный сыном лодочника, есть скелет кита. Он отыскал множество признаков, доказывающих, что этот скелет относится к доледниковому периоду.

Чтобы разрешить спор, мы обратились к мальчику. Мы просили его не бояться и сказать нам чистую правду: что это такое — скелет доисторического кита или древнеримский гроб?

Мальчик ответил, что это «Гордость Темзы». Сначала мы сочли его ответ очень удачным, и кто-то даже дал ему за остроумие два пенса. Но, когда он продолжал стоять на своем, мы сочли, что шутка затянулась, и обиделись.

— Ну, ну, паренек, — сказал наш капитан, — довольно глупостей. Унеси это корыто домой и приведи нам лодку.

Тут подошел сам лодочник и заверил нас честным словом как деловой человек, что эта штука — действительно лодка, та самая лодка, «четырехвесельный скиф», которая была выбрана для нашей прогулки.

Мы довольно долго ворчали. Мы говорили, что ему следовало по крайней мере выбелить эту лодку или хоть просмолить, чтобы ее можно было отличить от обломка затонувшего корабля. Но лодочник не видел в «Гордости Темзы» никаких изъянов.

Наши замечания как будто даже обидели его. Он сказал, что выискал для нас свою самую лучшую лодку и что мы могли бы быть более признательны.

Он сказал, что «Гордость Темзы», в том самом виде, в каком она

сейчас находится перед нами, служит верой и правдой уже сорок лет и никто на нее еще не жаловался, и непонятно, с чего это мы вздумали ворчать.

Мы не стали с ним больше спорить.

Мы связали эту так называемую лодку веревкой и, раздобыв кусок обоев, заклеили самые неприглядные места. Потом мы помолились Богу и сели в лодку.

За прокат этого ископаемого на шесть дней с нас взяли тридцать пять шиллингов, хотя мы могли купить его целиком на любом дровяном складе за четыре шиллинга с половиной.

На третий день погода переменилась (сейчас я уже говорю о нашей теперешней прогулке), и мы отбыли из Оксфорда в обратный путь под мелким, упорным дождем.

Река — когда солнце пляшет в волнах, золотит седые буки, бродит по лесным тропинкам, гонит тени вниз со склонов, на листву алмазы сыплет, поцелуи шлет кувшинкам, бьется в пене на запрудах, серебрит мосты и сваи, в камышах играет в прятки, парус дальний озаряет — это чудо красоты.

Но река в ненастье — когда дождь холодный льется на померкнувшие воды, словно женщина слезами в темноте одна исходит, а леса молчат уныло, скрывшись за сырым туманом, словно тени, с укоризной на дела людей взирая, — это прозрачные воды мира тщетных сожалений.

Свет солнца — это кровь природы. Глаза матери-земли смотрят на нас так уныло и бездушно, когда умирает солнечный свет. Нам тогда грустно быть с нею: она, кажется, не любит нас тогда и не хочет знать. Она — вдова, потерявшая возлюбленного мужа; дети касаются ее руки и заглядывают ей в глаза, но она не дарит их улыбкой.

Мы гребли под дождем весь день, и невеселое это было занятие. Сначала мы делали вид, что нам приятно. Мы говорили, что нас радует перемена и что интересно наблюдать реку во всех видах. Нельзя же рассчитывать, что всегда будет солнце, да нам этого и не хотелось бы. Мы говорили друг другу, что Природа прекрасна даже в слезах.

Первые несколько часов мы с Гаррисом были прямо-таки в восторге. Мы пели песню про цыгана — какая приятная у него жизнь: он на воле и в бурю и под ярким солнцем, и ветер овеивает его, и дождь его радует и приносит ему пользу, и смеется цыган над теми, кто не любит дождя.

Джордж радовался не так бурно и не расставался с зонтиком.

Мы натянули брезент еще до завтрака и не опускали его весь день, оставив лишь узкий просвет на носу, чтобы один из нас мог шлепать

веслом и нести вахту. Таким образом мы прошли девять миль и остановились на ночь немного ниже Дэйнского шлюза.

Говоря по совести, не могу сказать, что мы провели вечер очень весело. Дождь продолжал лить с тихим упорством. Все, что было в лодке, отсырело и промокло. Ужин решительно не удался. Холодный мясной пирог, когда вы не голодны, быстро приедается. Мне ужасно хотелось жареной рыбы и котлет. Гаррис что-то болтал о камбале под белым соусом и бросил остатки своего пирога Монморенси. Но Монморенси отказался от него и, видимо, оскорбленный этим предложением, ушел на другой конец лодки, где и сидел в одиночестве.

Джордж попросил нас не говорить о таких вещах хотя бы до тех пор, пока он не доест свое холодное мясо без горчицы.

После ужина мы полтора часа играли в карты по маленькой. В результате Джордж выиграл четыре пенса — Джорджу всегда везет, — а мы с Гаррисом проиграли ровно по два пенса каждый. После этого мы решили прекратить игру. Гаррис сказал, что игра порождает нездоровые чувства, если ею слишком увлекаться. Джордж предложил нам реванш, но мы с Гаррисом решили не сражаться больше с судьбой.

После этого мы приготовили грог и сидели беседуя.

Джордж рассказал про одного человека, который спал в мокрой лодке в такую же ночь, как эта, и получил ревматическую лихорадку. Его ничем нельзя было спасти, через десять дней он умер в страшных мучениях. По словам Джорджа, это был совсем молодой человек, недавно помолвленный. Это была одна из самых печальных историй, которые он, Джордж, знал.

Это напомнило Гаррису об одном его друге, который записался в армию. В одну сырую ночь, в Олдершоте, он спал в палатке — ночь была совсем такая, как сегодня, — и проснулся утром калекой на всю жизнь. Гаррис сказал, что, когда мы вернемся, он нас с ним познакомит. На него прямо-таки больно смотреть.

Все это, разумеется, навело на приятный разговор об ишиасе, лихорадках, простудах, болезнях легких, бронхитах. Гаррис сказал, что было бы очень неприятно, если бы ночью кто-нибудь из нас серьезно заболел, ведь доктора поблизости не найти.

Такие беседы вызывали у нас потребность повеселиться, и я в минуту слабости предложил Джорджу взять свое банджо и попробовать спеть нам что-нибудь.

Должен сказать, что Джордж не заставил себя упрашивать. Он не говорил никаких глупостей вроде того, что забыл ноты дома, или чего-нибудь подобного. Он немедленно выудил свой инструмент и заиграл

песню «Пара милых черных глаз».

До этого вечера я всегда считал «Пару милых черных глаз» довольно пошлым произведением. Но Джордж обнаружил в нем такие залежи грусти, что я только диву давался.

Чем дальше мы с Гаррисом слушали эту песню, тем больше нам хотелось броситься друг другу на шею и зарыдать. Сделав над собой усилие, мы сдержали подступившие слезы и молча слушали дикий, тоскливый мотив.

Когда пришло время подпевать, мы даже предприняли отчаянную попытку развеселиться. Мы снова наполнили стаканы и присоединились к пению. Гаррис дрожащим голосом запевал, а мы с Джорджем вторили:

О, пара милых черных глаз!  
Вот неожиданность для нас!  
Их взор корит нас и стыдит.  
О...

Тут мы не выдержали. При нашем подавленном состоянии невыразимо чувствительный аккомпанемент Джорджа сразил нас наповал. Гаррис зарыдал, как ребенок, а собака так завyla, что едва избежала разрыва сердца или вывиха челюсти.

Джордж хотел начать следующий куплет. Он решил, что, когда он лучше освоится с мелодией и сможет исполнить ее с большей непринужденностью, она покажется не такой печальной. Однако большинство высказалось против этого опыта.

Так как делать было больше нечего, мы легли спать, то есть разделись и часа три-четыре проворочались на дне лодки. После этого нам удалось проспать тревожным сном до пяти часов утра, затем мы встали и позавтракали.

Следующий день был в точности схож с предыдущим. Дождь лил по-прежнему, мы сидели под брезентом в макинтошах и медленно плыли вниз по течению.

Один из нас — я забыл, кто именно, но, кажется, это был я — сделал слабую попытку вернуться к цыганской ерунде о детях природы и наслаждении сыростью, но из этого ничего ни вышло. Слова: «Не боюсь я дождя, не боюсь я его!» — очень уж не вязались с нашим настроением.

В одном мы были единодушны, а именно в том, что, как бы то ни было, мы доведем наше предприятие до конца. Мы решили наслаждаться

рекой две недели и были намерены использовать эти две недели целиком. Пусть это будет стоить нам жизни! Разумеется, наши родные и друзья огорчатся, но тут ничего не поделаешь. Мы чувствовали, что отступить перед погодой в нашем климате значило бы показать недостойный пример грядущим поколениям.

— Осталось только два дня, — сказал Гаррис, — а мы молоды и сильны. В конце концов мы, может быть, переживем все это благополучно.

Часа в четыре мы начали обсуждать планы на вечер. Мы только что миновали Горинг и решили пройти до Пэнгборна и заночевать там.

— Еще один веселый вечерок, — пробормотал Джордж.

Мы сидели и размышляли о том, что нас ожидает. В Пэнгборне мы будем около пяти. Обедать закончим примерно в половине шестого. Потом мы можем бродить по деревне под проливным дождем, пока не придет время ложиться спать, или сидеть в тускло освещенном трактире и читать старый «Ежегодник».

— В «Альгамбре» было бы, черт возьми, повеселей, — сказал Гаррис, на минуту высовывая голову из-под парусины и окидывая взглядом небо.

— А потом мы бы поужинали у\*\*\*<sup>[8]</sup>, — прибавил я почти бессознательно.

— Да, я почти жалею, что мы решили не расставаться с лодкой, — сказал Гаррис, после чего все мы довольно долго молчали.

— Если бы мы не решили дожидаться верной смерти в этом дурацком сыром гробу, — сказал Джордж, окидывая лодку враждебным взглядом, — стоило бы, пожалуй, вспомнить, что из Пэнгборна в пять с чем-то отходит поезд на Лондон, и мы бы как раз успели перекусить и отправиться в то место, о котором вы только что говорили.

Никто ему не ответил. Мы переглянулись, и каждый, казалось, прочел на лицах других свои собственные низкие и грешные мысли. В молчании мы вытащили и освидетельствовали наш чемодан. Мы посмотрели на реку — ни справа, ни слева не было видно ни души.

Двадцать минут спустя три человеческие фигуры, сопровождаемые стыдливо потупившейся собакой, украдкой пробирались от лодочной пристани у гостиницы «Лебедь» к железнодорожной станции. Их туалет, достаточно неопрятный и скромный, состоял из следующих предметов: черные кожаные башмаки — грязные; фланелевый костюм — очень грязный; коричневая фетровая шляпа — измятая; макинтош — весь мокрый; зонтик.

Мы обманули лодочника в Пэнгборне. У нас не хватило духу сказать ему, что мы убегаем от дождя. Мы оставили на его попечение лодку и все

ее содержимое, предупредив его, что она должна быть готова к девяти часам утра. Если... если что-нибудь непредвиденное помешает нам вернуться, мы ему напишем.

В семь часов мы были на Пэддингтонском вокзале и оттуда прямо направились в упомянутый мной ресторан. Слегка закусив, мы оставили там Монморенси и распоряжение приготовить нам ужин к половине одиннадцатого, а сами двинулись на Лестер-сквер.

В «Альгамбре» мы привлекли к себе всеобщее внимание. Когда мы подошли к кассе, нас грубо направили за угол, к служебному входу, и сообщили, что мы опаздываем на полчаса.

Не без труда мы убедили кассира, что мы вовсе не всемирно известные «гуттаперчевые люди с Гималайских гор», и тогда он взял у нас деньги и пропустил нас.

В зрительном зале мы имели еще больший успех. Наш замечательный смуглый цвет лица и живописные костюмы приковывали к себе восхищенные взгляды. Все взоры были устремлены на нас.

Это были чудесные мгновенья.

Мы отбыли вскоре после первого балетного номера и направили свои стопы обратно в ресторан, где нас уже ожидал ужин.

Должен сознаться, этот ужин доставил мне удовольствие. Последние десять дней мы жили главным образом на холодном мясе, пирогах и хлебе с вареньем. Эта пища проста и питательна, но в ней нет ничего возвышающего, и аромат бургундского вина, запах французских соусов, чистые салфетки и изящные хлебцы оказались желанными гостями у порога нашей души.

Некоторое время мы молча резали и жевали; наконец наступила минута, когда, устав сидеть прямо и крепко держать в руке вилку и нож, мы откинулись на спинки стульев и двигали челюстями вяло и небрежно. Мы вытянули ноги под столом, наши салфетки попадали на пол, и мы нашли время критически оглядеть закопченный потолок. Мы отставили стаканы подальше и чувствовали себя добрыми, тактичными и всепрощающими.

Гаррис, который сидел ближе всех к окну, отдернул штору и посмотрел на улицу.

Вода на мостовой слегка поблескивала, тусклые фонари мигали при каждом порыве ветра, дождь, булькая, шлепал по лужам, устремлялся по желобам в сточные канавы. Редкие прохожие, мокрые насквозь, торопливо пробегали, согнувшись под зонтиком, женщины высоко поднимали юбки.

— Ну что же, — сказал Гаррис, протягивая руку к стакану, — мы совершили хорошую прогулку, и я сердечно благодарю за нее нашу

старушку Темзу. Но, я думаю, мы правильно сделали, что вовремя с нею расстались. За здоровье Троих, спасшихся из одной лодки!

И Монморенси, который стоял на задних лапах у окна и смотрел на улицу, отрывисто пролаял в знак своего полного одобрения этому тосту.

---

---

<b>notes</b>
--------------

## Примечания



**1**

Стоун — около 6,35 килограмма.

Коронер — следователь, производящий дознание в случаях скоропостижной смерти, позволяющей заподозрить убийство.

Стэнли Генри Мортон (1841–1904) — англичанин, исследователь Африки.

«Сэндфорд и Мертон» — нравоучительная детская книжка Томаса Дэя (1783 г.) про плохого богатого мальчика Томми Мертона и хорошего бедного мальчика Гарри Сэндфорда.

Имеется в виду подписание английским королем Иоанном Безземельным Великой Хартии Вольностей, ограничивающей права короля и дающей привилегии рыцарству и крестьянской верхушке.

Древняя легенда рассказывает о семи благородных юношах из Эфеса, которые, спасаясь от преследования римского императора Деция, нашли убежище в пещере, где проспали двести лет.

Цепь прудов в Гайд-парке, в Лондоне.

\*Отличный недорогой ресторанчик в районе \*\*, где прекрасно готовят легкие французские обеды и ужины и где за три с половиной шиллинга можно получить бутылку первоклассного вина. Но я не так глуп, чтобы рекламировать его. *(Прим. автора.)*